



А. Малышевский

I

Русский путь  
братьев Киреевских

16+

**А. Мальшевский**  
**Русский путь братьев**  
**Киреевских. В 2-х кн. Кн. I**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=53837886](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=53837886)*

*SelfPub; 2020*

*ISBN 978-5-532-06620-5*

**Аннотация**

Перед читателем историко-литературная биография Ивана Васильевича Киреевского (22 марта / 3 апреля 1806 – 11 / 23 июня 1856) и Петра Васильевича Киреевского (11 / 23 февраля 1808 – 25 октября / 6 ноября 1856) – двух великих сынов Отечества, двух выдающихся деятелей русской культуры, двух основоположников и идеологов славянофильства. Адресуется самому широкому кругу читателей, интересующихся историей России первой половины XIX века.

# Содержание

Предисловие	4
Глава I. Род. Родители. Родня	22
1	22
2	40
3	49
4	107
Конец ознакомительного фрагмента.	167

# Предисловие

*Он человек был, человек во всем;  
Ему подобных мне уже не встретить<sup>1</sup>.  
Уильям Шекспир. Гамлет, принц датский*

*Пускай в душевной глубине...  
Федор Тютчев. Silentium!*

Все, о чем пойдет разговор в этой книге, давно забылось... исчезло... истлело... перестало существовать... За двести лет умерли не только люди, но и память о них. Лишь немногим удалось избежать забвения... участи стертых с лица земли могил. Дома и постройки разрушились или видоизменились так, что большей частью утратили изначальные облик и предназначение. Реки обмелели... Поля заросли... Прежних дорог не сыскать... Ни барских усадеб, ни пашен, ни покосов, ни прудов, ни заливных лугов, ни тенистых аллей... Иные времена – иные пейзажи!!.. Как сказано у Екклесиаста: «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и

---

<sup>1</sup> Перевод М. Лозинского.

возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь»<sup>2</sup>. Однако людей, хотя они и умерли, забывать нельзя...

И вот они лица XIX столетия!!.. Братя-славянофилы Иван и Петр Киреевские. Иван Васильевич сидит в большом удобном старинном кресле... Очки с круглыми стеклами, высокий воротник сорочки... Одна рука заложена за борт сюртука, другая не столько опирается на ручку кресла, сколько сжимает ее. Лицо *поставлено* прямо, упорно; подбородок чуть-чуть выдается вперед; маленькие губы красивого рта сжаты; над глазами большие надбровные дуги; череп – скорее коробочкой, без округлости, без шаровидности. Взгляд пристальный. Все выражение негодующее... с налетом легкой презрительности. Петр Васильевич – просто *степной помещик*... Усы, в кружок остриженные волосы... Венгерка, в зубах трубка... Аскет, ветхопещерник<sup>3</sup>; пренебрежение ко всяким условностям высшего тона; дворянин, вечно водящийся с простолюдинами; прямой, честный, страстно любящий свой народ...

Первый – писатель-аналитик, религиозный философ, теоретик славянофильства, редактор-издатель «Европейца». Он был одним из первых литературный критиков и публицистов, положивших начало цельного взгляда на культу-

---

<sup>2</sup> Еккл. 1, 3–7.

<sup>3</sup> Выражение поэта Н. М. Языкова.

ру, цивилизацию, европейскую и отечественную литературу, *на наше и не наше* во всемирной истории. Второй – собиратель-исследователь народного поэтического, песенного творчества. С его собрания началась систематическое и научное отношение к отечественной фольклористике.

Иван Васильевич был старшим братом и, естественно, во всем имел инициативу: книги, знакомства, философские увлечения, выбор литературных кружков – все изначально принадлежало брату Ивану, за которым *нога в ногу* следовал его младший брат Петр Васильевич. Тот же наставник – Василий Андреевич Жуковский. Та же библиотека из лучших произведений русской и мировой литературы... Тот же круг *чтения и постижения литературы и науки* европейских народов... Те же профессора Московского университета: Мерзляков, Снегирев, Цветаев, Чумаков... Та же служба в Московском архиве Коллегии иностранных дел... Та же компания «архивных юношей»: Алексей и Дмитрий Веневитиновы, Николай Мельгунов, Николай Рожалин, Александр Кошелев, Сергей Соболевский, Владимир Титов, Владимир Одоевский, Степан Шевырев... Те же литературные кружки Раича, Одоевского, Веневитинова... То же Общество любомудрия, самораспустившееся в 1825 году после восстания декабристов... То же увлечение трудами Спинозы, Канта, Фихте... Та же западная университетская школа: Георг Вильгельм Фридрих Гегель, Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг, Лоренц Окен, Йоханн Йозеф фон Гёррес,

Карл Риттер... Тот же круг знакомых: А. С. Пушкин, А. Мицкевич, З. Доленга-Ходаковский, Ф. И. Тютчев, Н. В. Гоголь, А. С. Хомяков, А. Х. Востоков, А. В. Кольцов, А. Ф. Вельтман, В. И. Даль, М. П. Погодин, М. А. Дмитриев, А. И. Писарев, А. М. Кубарев, Авр. С. Норов, Ал. С. Норов, М. А. Максимович, Д. П. Ознобишин, А. Н. Муравьев, К. С. Аксаков, И. С. Аксаков, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский, П. Я. Чаадаев, А. И. Герцев, Ю. Ф. Самарин, Т. Н. Грановский...

Принято читать, что Петр Киреевский прожил свою жизнь в тени старшего брата Ивана, что Иван Киреевский *несравненно оконченнее* младшего брата Петра... Что И. В. Киреевский – подлинно *священный писатель*... Его сочинения («Девятнадцатый век»<sup>4</sup>, «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России»<sup>5</sup>, «О необходимости и возможности новых начал для философии»<sup>6</sup>) – подлинное *священное писанье* в русской литературе, ибо «исходят из необыкновенно высокого настроения души, из какого-то священного ее восторга, обращенного к русской земле... Чего бы они ни касались, Европы, религии, христианства, язычества, античного мира, – везде речь их лилась золотом самого возвышенного строя мысли, самую страстного углубления в предмет, величайшей компетентности в сужде-

---

<sup>4</sup> Европеец. 1932. № 1.

<sup>5</sup> Московский сборник. М., 1852. Т. 1.

<sup>6</sup> Русская беседа. 1956.

ниях»<sup>7</sup>.

П. В. Киреевский дебютировал в журнале «Московский вестник» в 1827 году, где было напечатано его изложение курса новогреческой литературы, написанного и изданного по-французски в Женеве Ризо Нерулосом. В 1828 году Петр Киреевский напечатал отдельной книжкой свой перевод с английского повести Байрона «Вампир». В этом же году в «Московском вестнике»<sup>8</sup> был опубликован его перевод с испанского большей части комедии Кальдерона «Трудно стеречь дом о двух дверях». Также переводил Шекспира<sup>9</sup>. Перевёл книгу В. Ирвинга «Жизнь Магомета», которая была опубликована после его смерти, в 1857 году. В 1832 году в журнале «Европеец»<sup>10</sup> появилась статья Петра Васильевича под заглавием «Современное состояние Испании» – перевод из английского журнала «The Foreign Quaterly Review». В 1845 году Петр Киреевский напечатал в журнале «Москвитянин»<sup>11</sup> статью «О древней русской истории», в виде полемического письма известному историку М. П. Погодину по поводу его «Параллели русской истории с историею западных европейских государств» – с обещанием «окончания

---

<sup>7</sup> Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1996. С. 565.

<sup>8</sup> № 19–20.

<sup>9</sup> Не опубликовано, рукописи утрачены.

<sup>10</sup> № 2.

<sup>11</sup> № 3.

в следующей книжке», которого не последовало. В 1846 году им был напечатан в первом выпуске начавших тогда выходить «Чтений в Обществе истории и древностей российских» перевод с английского сочинения Сэмюэла Коллинза, бывшего врачом царя Алексея Михайловича, о современном ему состоянии России, сделанный с экземпляра первого его издания 1671 года («Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне»).

Следует признать, что на литературном поприще Петр Киреевский (при всем желании его писать) не достиг высот своего брата Ивана Киреевского; он даже не приблизился к ним. Совсем не от смирения и не от излишней совестливости!!.. Петр Васильевич так и не приобрел привычки излагать свою мысль на бумаге (его перу не была дарована легкость). Было и еще одно... Само свойство *раскапывания старины*, при котором нельзя ни шагу двинуться без тысячи справок и проверок и без ежеминутной борьбы с целой *фалангой предшественников, изувечивших и загрязнивших ее донельзя*. Но это не умаляет самостоятельности и самостоятельности П. В. Киреевского перед И. В. Киреевским...

Несомненно, Иван Киреевский был *подвижнее* умом Петра Киреевского, *живее* мыслью и, если можно так выразиться, *ускореннее* впечатлительностью. Петр Васильевич был замкнут и *неуклюж*; таланты его были менее заметны, нежели блестящие дарования старшего брата Ивана Васильевича. Однако П. В. Киреевский был *замечательнее* своего бра-

та И. В. Киреевского и по цельности натуры, и по чистоте убеждений, и по редкости совершенно праведной жизни. Если Иван Киреевский в своем умственном развитии был *зависим*... многим увлекался и был подвержен многим влияниям (от западных теорий до православного религиозного мистицизма), то Петр Киреевский в суждениях был спокойнее и самостоятельнее, *совершил свой жизненный труд без всякой перемены и даже оттенка перемены*.

И. В. Киреевский был создан для многого, в то время как П. В. Киреевский для одного. Отдавая преимущество русскому характеру, русскому уму, а по сути своей *русскому всему*, Петр Киреевский помыслил осуществить грандиозную по историческим меркам задачу – восстановить первоначальный, древний дух русского народа – восстановить не иллюзорно (через воображение или догадку), а непосредственно по непререкаемым памятникам... собрать воедино документы, где бы были видны *истоки, природа и течение* этого духа, в которых отражались бы традиции, быт и жизнь этого духа, его возможная глубина, его игра, ясность и легкость... Найти первоначальный народный дух?!.. живую речь народа, сохранившую древние черты?!.. без книжных примесей и влияний?!.. в размеренном песенном тексте, из которого слова не выкинешь?!.. Более величественной и более благородной задачи нельзя было себе представить?!..

У братьев Киреевских была общая надежда и мысль о великом назначении своего Отечества!!.. Иван Васильевич ре-

ализовывал ее теоретически, что называется, за письменным столом; его охватила идея *цельности духовной жизни*. Именно *цельное мышление* позволяет личности и обществу избежать ложного выбора между невежеством, которое ведет к *уклонению разума и сердца от истинных убеждений*, и логическим мышлением, способным отвлечь человека от всего важного в мире. *Все ложные выводы рационального мышления зависят только от его притязания на высшее и полное познание истины!!!*. Для человека, не достигшего *цельного сознания*, вторая опасность особенно актуальна; культ телесности и культ материального производства, получая оправдание в рационалистической философии, ведет к духовному порабощению. Принципиально изменить ситуацию может только перемена *основных убеждений... изменение духа и направления философии... Рождение нового мышления не в построении систем, а в сущностном повороте в общественном сознании... воспитании общества... Не индивидуальными интеллектуальными усилиями, а общими (соборными) в общественную жизнь должна войти новая, преодолевающая рационализм, философия. Суть этого пути – стремление к сосредоточенной цельности духа, которая дается только верой... аскеза – необходимый элемент не только жизни, но и философии... святоотеческий образ и способ мышления... внутреннее духовное сопряжение человеческой личности с Богом.*

Зная семь языков и с ними впитав дух столько же куль-

тур, П. В. Киреевский «сознательно, твердо предпочел всем им деревенскую и сельскую культуру Руси, Псковскую и Новгородскую деревенщину, и совершенно не имел иного отношения к общечеловеческим идеалам *истины, красоты, справедливости*, чем просто русское к ним отношение, русское чувство этих идеалов. Соединяя с этим русским чувством огромное европейское образование, он открыл ворота *русской смелости* – смелости называться собою, чувствовать, как *чувствуется самому русскому*, думать, как *думается самому русскому*, никому не вторя, никому не подражая»<sup>12</sup>.

Петр Киреевский погрузился в реалии практической жизни; отправился по селам и ярмаркам Московской, Тверской, Псковской, Новгородской губерниям, знакомился с русским крестьянином, с русским простолюдином, с деревенским стариком-сказителем, самолично записывал с голоса песни и стихи... Изучал, стараясь по всем вариантам одной и той же песни восстановить первоначальный, древнейший ее вид, *обставив* этот подлинник выросшими видоизменениями; искал и находил тот образец народного песенного бытописания (говорок, выдумка, легенда, обряд), через который лучше всего можно осязать свою собственную родную отечественную историю. Работа титаническая, требующая множества справок, сравнений, множества проверок дальнейшего упо-

---

<sup>12</sup> Розанов В. В. Собрание сочинений. Признаки времени (Статьи и очерки 1912 г.). М.: Республика, 2006. С. 219.

требления того или иного слова, того или иного оборота речи, в летописях и других древних памятниках письменности.

Невольные и бессознательные впечатления от собирания народных песен и стихов *вдохновили... одушевили... заразили... окружающих. Тихая и скромная душа* сделалась источником огромного движения *возрождения Древней Руси – основной России!!!*. Пушкин прислал Петру Киреевскому тетрадь песен, записанных в Псковской губернии; Кольцов – песни, собранные им в Воронежской губернии; Гоголь – разрозненное собрание песен Малороссии. Семья поэта Николая Языкова передала Петру Киреевскому песни, записанные в Симбирской и Оренбургской губерниях. В то же время Снегирев прислал песни, собранные в Тверской и Костромской губерниях, Кавелин – из Тульской и Нижегородской, Вельтман – из Калужской, Шевырев – из Саратовской, Рожалин – из Орловской, А. Н. Попов – из Рязанской, Трубников – из Тамбовской, Гудилович – из Минской, Даль – из Приуралья. К *общему* теперь делу приобщились Максимович и совсем юный Стахович; Якушкин обошел пешком Костромскую, Тверскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Орловскую губернии.

Два *великих ума*, выпестованных на последовательности западноевропейского развития, загнанных в *личную глубину*, мыслящих в молчании... Два *духовных труда*, постигающих суть и сущность российской действительности, так и не про-

рвавшихся сквозь пелену *чистых и абсолютных дум* на поверхность общественного сознания...

Молчи, скрывайся и таи  
И чувства и мечты свои —  
Пуškai в душевной глубине  
Встают и заходят оне  
Безмолвно, как звезды в ночи, —  
Любуйся ими – и молчи.

Как сердцу высказать себя?  
Другому как понять тебя?  
Поймет ли он, чем ты живешь?  
Мысль изреченная есть ложь.  
Взрывая, возмутишь ключи, —  
Питайся ими – и молчи.

Лишь жить в себе самом умей —  
Есть целый мир в душе твоей  
Таинственно-волшебных дум;  
Их оглушит наружный шум,  
Дневные разгонят лучи, —  
Внимай их пенью – и молчи!..<sup>13</sup>

«Молчание – талант даровитого. Молча светит солнце. Молча созревает плод. Молча кормит корень. Вся *природа* молчалива, все в природе молчаливо. Гром и ветер – исклю-

<sup>13</sup> Тютчев Ф. И. Silentium!

чения, и ведь это не Бог весть что. Чем больше молчания, тем больше *делается*... Молчание – добродетель, а разговоры... могут быть просто *болтовней*... Настоящий *ум* начинается со *скромности*, т. е. с некоторого плача о себе и своих силах, о своем бессилии; и, пропорционально этому, с *внимания* к окружающему, с желания учиться из окружающего... *Настоящая наука* никак не может зародиться иначе как в *глубоком безмолвии*, почти в немом человеке. Науке положил начало тот, кто хотел говорить и не мог говорить...»<sup>14</sup>

Так случается... Так случилось... Опоэтизированный Ф. И. Тютчевым образ *молчания* воплотился в жизненные реалии братьев Киреевских, в их особую жизнь посреди общества, *образованного* иначе. Ибо человек *промыслительно* может и *промыслительно* должен проложить свой индивидуальный путь-траекторию в мире по истине, по совести, по правде, по справедливости... В любые времена!!.. в любые эпохи!!.. застои... смуты... бедствия... «Ведь общество и его уровень ценностей – лишь одна из многих составляющих, что образуют содержание жизни человека. Если в социуме смрад и недвижность, человек обращается в семью, любовь, мысль, в культуру, в природу, в труд, в хозяйство – и там добывает собственные, независимые от политических веяний ценности бытия... Создать свой очаг и ковчег спасения,

---

<sup>14</sup> Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1996. С. 562.

особенно если жена – друг, как у Ивана Киреевского: была духовной дочерью Серафима Саровского, русского святого, скончавшегося в 1833 году, – современник Пушкина был, а кто знал?.. Благо материальная независимость помещика давала возможность удалиться в свою усадьбу и не видеть са-трапов, не сталкиваться с ними повседневно на службе из-за куса хлеба...»<sup>15</sup>

Братья Киреевские *сотворили* свое собственное пространство-время, в котором *обитали* в расхождении с текущим, *вслушиваясь* в суть вещей и событий европейских стран и народов, *синхронизируя* ход российской истории. Античность и варварство... Христианство и церковь... Государство и просвещение... Цивилизация и культура... Россия не укладывалась в общее *шествие* западноевропейского Духа своей сущностью?!.. Огромностью?!.. Древностью?!.. Восточным христианством?!.. В чем, собственно, дело??.. В западной государственности, *привнесенной* варягами на бескрайние просторы, спорадически населяемые славянскими племенами?!.. В западных схемах и логике миропонимания, *привитых* Петром Великим к древу вольно-разгульной народной жизни?!.. В разупорядоченности темпов и ритмов российских столиц и провинций: с одной стороны, пространство всемирной мысли, средоточие новейших европейских течений (вольтерьянство, романтизм, Шеллинг и Гегель, со-

---

<sup>15</sup> Гачев Г. Д. Русская Дума. Портреты русских мыслителей. М.: Издательство «Новости», 1991. С. 27–28.

циализм и т. д. и т. п.), отягченное думой о собственном поступательном развитии, а с другой – доисторичность, патриархальность, сказочность, былинность, песенность... мир настоящий, глухой, темный, суровый, неизвестный... народное море, народная совесть, народная нужда, народная дума... Святая Русь?!.. «Начало мира... начало мышления... начало самого человека коренится в *святом*: оно редко, невидимо, не мечется в глаза, а скорее хоронится от глаз, но в нем-то и лежит *корень* всего мира... И пока мир держится именно *на этом корне* и не пожелает получить в основу себя другого корня, – он останется жив, цел и вечен. Святое есть непорочное; святое есть полная правда; святое – оно всегда прямо... Святое есть настоящее. *Настоящий человек... настоящее золото... настоящая дружба...* Мир состоит из *настоящих вещей* и из *подражаний настоящим вещам*... И вторых очень много, а первых очень немного, вот как золота...»<sup>16</sup> Медленнее Европы, но быстрее Азии?!.. И земля, и природа, и народ, и государство, и личность, и душа, и дух, и цель, и призвание, и предназначение, и миссия...

Что значит быть человеком утонченной европейской культуры, человеком воспитанным на гуманистических и либеральных идеях Запада, поверившим универсальности европейской цивилизации и оттого так страстно тянувшим-

---

<sup>16</sup> Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1996. С. 563.

ся к родному, так глубоко понимающим его?!.. Высоко, благородно и бескорыстно ценить все *возвышенное, духовное и плодородное* в русской истории, русской культуре, русской нации, русском человеке при всей очевидности для него места и роли западной цивилизации, при всем понимании степени ее превосходства перед нашим *русским ничто*?!.. Глубокий теоретизм (по той простой и естественной причине, что все работали, размышляли и писали свои ученые труды по методам западной науки, западного научного мышления) и иллюзорно-литературное презрение к европейской цивилизации, *отталкивание* от нее и *прирастание* к тому, чего нет, что уже под спудом прошлого, с чем порвана жизненная связь?!.. Странное сочетание в русской душе и русском сознании энтузиазма в отношении Европы, ее просвещения, ее науки и ее искусства, ее литературы и ее гражданских ценностей и боли из-за отсутствия в нас (в собственной личности и общественной жизни) преимуществ западного духовного развития?!.. «Великий этот хлеб, хлеб Европы, – святой, питательный. Только им мы и были сыты, только им мы и были живы. Но Бог велел каждому человеку самому трудиться на земле. Отныне мы берем плуг и в поте лица нашего, в поте лица русского будем распахивать наше русское поле...»<sup>17</sup>

Противостояние славянофильства и западничества, сло-

---

<sup>17</sup> Розанов В. В. Собрание сочинений. В нашей смуте (Статьи 1908 г. Письма к Э. Ф. Голлербаху). М.: Республика, 2004. С. 126.

жившееся в 1830–1850-х годах, стало одним из определяющих признаков всего развития отечественной культуры. По одну сторону: А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, И. С. Аксаков, И. В. Киреевский, П. В. Киреевский, Ю. В. Самарин, В. А. Черкасский и другие члены *кружка*, олицетворявшего *особую* любовь к России, к своему *домашнему* делу, к осознанию себя, своей национальной значительности. Народ наш не есть среда, материал, вещество, для принятия в себя единой и универсальной и окончательной истины, которая обобщенно именуется Европейской цивилизацией!!.. По другую: П. Я. Чаадаев (именно его «Философические письма» послужили толчком к окончательному оформлению обоих течений и стали поводом к началу дебатов), Т. Н. Грановский, И. С. Тургенев, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, К. Д. Кавелин и другие выразители *общечеловеческого интереса*. Никакой отдельно стоящей русской цивилизации, отдельно пребывающей русской культуры!!.. Здесь сошлись не только две истины, две доктрины, но и принципы жизни, законы и нормы суждений и практических требований; социально-психический уклад русского народа против социально-психического уклада романо-германских народов – *протест, сперва выразившийся в смутном, безотчетном отчуждении, а потом в полной сознательной критике и отвержении этих созданий и тех начал, из которых они вышли*. Одни звали Россию к возрождению, другие – к пробуждению!!.. От первых пошли *русские одиночки*, от вторых – *рус-*

*ская общественность.* Конфликт не разрешен... Спор этот не окончен...

Нам нынешним трудно понять людей первой половины XIX столетия, «потому что мы вырастаем совершенно иначе – катастрофически. Между нами нет ни одного, кто развивался бы последовательно: каждый из нас не вырастает естественно из культуры родительского дома, но совершает из нее головокружительный скачок, или движется многими такими скачками. Вступая в самостоятельную жизнь, мы обыкновенно уже ничего не имеем наследственного, мы все переменили в пути – навыки, вкусы, потребности, идеи; редкий из нас даже остается жить в том месте, где провел детство, и почти никто – в том общественном кругу, к которому принадлежали его родители. Это обновление достается нам не дешево; мы как растения, пересаженные – и может быть, даже не раз – на новую почву, даем и бледный цвет, и тощий плод, а сколько гибнет, растеряв в этих переменах и здоровье, и жизненную силу! Я не знаю, что лучше: эта ли беспочвенная гибкость, или тирания традиции. Во всяком случае, разница между нами и теми людьми очевидна; в биографии современного деятеля часто нечего сказать о его семье, биографию же славянофила необходимо начинать с характеристики дома, откуда он вышел»<sup>18</sup>. К такому выводу пришел

---

<sup>18</sup> Гершензон М. О. Избранное. Т. 3. Образы прошлого. Москва – Иерусалим: Университетская книга, 2000. С. 78–79.

историк русской литературы и общественной мысли XIX века Михаил Гершензон в 1910 году. Что же тогда говорить о нас, живущих в 2020-м??.. Однако попробовать стоит!!.. Воссоздавать разумом образы прошлого занятие прелюбопытное:

Есть игры, сопряженные с усилием,  
Но то усилие тешит; труд иной  
Хоть низок, но по цели благороден,  
И бедных дел итог порой богат.  
Так этот труд мне мог бы в тягость быть;  
Но госпожа, которой я служу,  
Все мертвое волшебю оживляет  
И делает работу мне отрадной<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Уильям Шекспир. Буря. Акт III. Сцена 1. Перевод М. Гершензона.

# Глава I. Род. Родители. Родня

## 1

22 марта<sup>20</sup> 1806 года в Москве у Василия Ивановича Киреевского и Авдотьи Петровны Киреевской, урожденной Юшковой, появился на свет их первенец, нареченный Иваном. Двумя годами позже, 11 февраля 1808 года, близ города Белева в селе Долбине (*крутой берег реки Вырки при впадении в нее Чермошны и Вязовни*) Лихвинского уезда Калужской области родился их второй сын, получивший при крещении имя Петр.

С рождением у Василия Ивановича и Авдотьи Петровны сыновей, Ивана и Петра, получили продолжение славные дворянские фамилии Киреевских, Юшковых, Тыртовых, Буниных... В свое время Петр Васильевич Киреевский составит свое *родовое древо*: «1. Василий Семенович – белёвский дворянин, в начале XVII века за осадное сиденье получил бывшее поместье своё, село Долбино, в вотчину. Женат был на Арине Охотниковой. Пожертвовал коня в белёвский Преображенский монастырь, где и похоронен. 2. У него: а) Иван Васильевич брал город Вильну (1655 г.) и участвовал в Чи-

---

<sup>20</sup> Все даты приводятся по старому стилю.

гиринском походе, также и в действиях против Стеньки Разина. Женат был на Анне Васильевне Сомовой. Скончался монахом в Кирилло-Белозерском монастыре; б) Тимофей Васильевич брал с братом своим Вильну, участвовал в Чигиринском походе и против Стеньки Разина. Был убит под Алатырем. От Тимофея Васильевича происходит род Киреевских, ныне живущих в Малоархангельском уезде Орловской губернии. 3. У Ивана Васильевича: а) Иван Иванович – стольник при царях Алексее, Феодоре и пр. <...> При царе Петре *И. И. Киреевский должен был сбрить бороду*. Женат на Марье Дмитриевне Яблочковой; б) Дмитрий Иванович. 4. Василий Иванович: при осаде Дерпта ему разрубили голову и нанесли еще две раны. Полк, в котором он служил, был раскассирован и отослан в Рижский гарнизон. Он умер в 1736 г. Женат был сперва на Хрущовой, с 1711 г. на Дарье Яковлевне Ржевской, которая оставила по себе память умной женщины. Она дала прекрасное образование сыну и внуку своему. 5. Иван Васильевич: под Грос-Егерсдорфом ранен картечью. Он был первый дворянский предводитель Козельского уезда Калужской губернии. Женат был на Елизавете Афанасьевне Тыртовой, которая умерла в 1773 г., родив сына. 6. Василий Иванович (1773–1812). У него сестра Аграфена Ивановна (сумасшедшая, она пережила его). Женат на А. П. Юшковой»<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Том 4. Материалы к биографиям. Воспоминания и оценка личности и

Василий Иванович Киреевский в традиции своих предков поступил на военную службу, выбрав себе Острогожский легкоконный полк, но в 1795 году при императоре Павле, двадцати двух лет от роду, вышел в отставку в чине секунд-майора. Поселился в родовом Долбине – имении, насчитывающем до пятидесяти дворовых изб, и занялся его серьезным переустройством: выстроил «огромный, на высоком фундаменте дом, с мраморной внутренней облицовкой стен, со множеством надворных строений»<sup>22</sup>, окруженных великолепным парком.

Как Долбино было типичным поместьем начала XIX века, так и В. И. Киреевский был типичным представителем просвещенного дворянства, достойно воплощающего в себе черты своих древних родов и несущего на себе определенный налет оригинальности и причудливости. Лучшие представители екатерининского века были чем-то похожи «на суворовских солдат. Что-то в них свидетельствовало о силе неистасканной, неподавленной и самоуверенной. Была какая-то привычка к широким горизонтам мысли, редкая в людях времени позднейшего»<sup>23</sup>. Василий Иванович «сохранил до конца жизни деятельность, привычную военной службе, и даже некоторые мелочные привычки своей первой моло-

---

творчества / сост., прим. и коммент. А. Ф. Малышевский. Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. С. 23–24.

<sup>22</sup> Там же. С. 7.

<sup>23</sup> Лясковский В. Алексей Степанович Хомяков. М., 1897. С. 7.

дости: так, например, он не хотел изменить прическе, давно вышедшей из моды, и носил пучок на затылке»<sup>24</sup>. Знал пять языков, любил естественные науки, имел у себя лабораторию, занимался медициною и довольно успешно лечил; пребывая на смертном одре, наставлял своего старшего сына в необходимости заниматься химией и называл ее «божественной наукой». Много читал, пробовал заниматься литературной деятельностью, переводил повести и романы. Был англоманом – любил не только английскую литературу, но и английскую свободу. Вместе с тем был очень набожен, ненавидел французских энциклопедистов. Ненависть к материализму была в нем столь существенна, что он начал скупать в Москве сочинения Вольтера и жечь их.

О новых веяниях среди русского дворянства, которым был подвержен В. И. Киреевский, был прекрасно осведомлен А. С. Пушкин. Достаточно обратиться к первому абзацу его повести «Барышня-крестьянка», чтобы воочию ощутить особый психологизм отношений усадебной жизни того времени: «В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезде в поле. Хозяйствен-

---

<sup>24</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Том 4. С. 7.

ные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить со своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сюртук из сукна домашней работы; сам записывал расход, и ничего не читал, кроме “Сенатских Ведомостей”. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе,

Но на чужой манер хлеб русский не родится,

и, несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский Совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и сме-

лым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: “Да-с! – говорил он с лукавой усмешкою, – у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты”. Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем и провинциалом»<sup>25</sup>.

Пристрастия В. И. Киреевского к химии и англоманство не поколебали в нем патриархального духа и не заставили с пренебрежением отвернуться от исконного народного быта. В Долбине в неизменности сохранялся помещичий быт старого времени, всегда отличавшийся близостью барской усадьбы и деревни, открытостью господской жизни для крестьян. Вот что свидетельствуют об этом семейные предания: «Шутов и шутих, дураков и дур, сказочников и сказочниц при молодом барине не было. Видно, они перевелись еще при старом, ибо Василий Иванович, из сожаления к ним и уважения к отцу, не прогнал бы их... Но между дворовыми

---

<sup>25</sup> Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Т. VI. Л.: Издательство «Наука», 1978. С. 99–100.

в Долбине оставались еще арапка и гуслист. Гуслист настраивал фортепьяны и игрывал по святочным вечерам, на которые в барскую залу собирались наряженные из дворовых (кто петухом простым или индейским, журавлем, медведем с поводырем балагурным, всадником на коне, бабой-ягой в ступе с пестом и помелом и пр.). Нарядиться журавлем было проще всего: выворачивался тулуп, в рукав продевалась длинная палка, к концу ее и рукава наворачивалась из платка голова и привязывалась другая палка, представлявшая клюв; наряженный надевал тулуп себе на голову и спину и ходил сторбившись, держа свою шею в руках, то поклевывая по полу, то поднимая ее вверх, треща по-журавлиному, с прибаутками. Являлись и в замысловатых иногда личинах. Однажды камердинер Киреевского явился Эзопом и рассказывал наизусть басни Хемницера со своими прибаутками. Другой комнатный предстал в облачении архиерея и, поставив перед собою аналой, начал говорить проповедь, с шутивным, хотя приличным тоном и содержанием, но Василий Иванович его остановил и удалил из залы...

Из 15 человек мужской комнатной прислуги 6 были грамотны и охотники до чтения; книг и времени было у них достаточно, слушателей много. Во время домовых богослужений, которые были очень часто (молебны, вечерни, всенощные, мефимоны<sup>26</sup> и службы Страстной недели), они заменя-

---

<sup>26</sup> Мефимоны, нифимоны, ефимоны, ифимоны – на обыденном языке этим названием обозначается великое повечерие, совершаемое на первой неделе Вели-

ли дьячков, читали и пели стройно старым напевом: нового Василий Иванович у себя не терпел, ни даже в церкви. В летнее время двор барский оглашался хорowymi песнями, под которые многочисленная дворянка девок, санных девушек, кружевниц и швей водили хороводы и разные игры: в коршуны, в горелки, “заплетися, плетень, заплетися, ты завейся, труба золотая” или “а мы просо сеяли”, “я иду во Китай-город гуляти, привезу ли молодой жене покупку” и др.; а нянюшки, мамушки, сидя на крыльце, любовались и внушали чинность и приличие. В известные праздники все бабы и дворовые собирались на игрища то на лугу, то в роше крестить кукушек, завивать венки, пускать их на воду и пр. Вообще народу жилось весело, телесных наказаний никаких не было – ни батогах, ни розог. Главные наказания в Долбине были земные поклоны перед образом до 40 и более, смотря по вине, да стул (дубовая колода, к которой приковывали виновного цепью за руку). Крестьяне были достаточны, многие зажиточны. Доказательством тому служит следующее обстоятельство. Продавалась деревня Ретюнь, смежная с Долбином. Выборные из Ретюни пришли к Василию Ивановичу: “Батюшка, купи нас, хотим быть твоими, а не иных чьих каких”. “Братцы, – сказал им Киреевский, – увеличивать свои поместья я не желаю, а сделать это в удовольствие вам не могу: у меня нет столько наличных денег”. Через несколько дней ретюньские выборные пришли опять: “Добрый барин,

возьми нас в свои, а денег у тебя не достаёт – мы внесем тебе своих. Хотим быть твоими”. Василий Иванович купил Ретюнь. По вводе во владение крестьяне пригласили его к себе с молодой барынею и сделали великолепное угощение, на котором было даже мороженое. Повар с посудой был нанят поблизости из г. Белёва. Вожаком крестьян был крестьянин Дрыкин, который торговал пенькой...

Церковь села Долбина, при которой было два священника, славилась чудотворною иконою Успения Божьей Матери. К Успеньеву дню стекалось множество народу из окрестных сел и городов, и при церкви собиралась ярмарка, богатая для деревни. Купцы раскидывали множество палаток с красным и всяким товаром, длинные, густые ряды с фруктами и ягодами, не были забыты и горячие оладьи и сбитень. Но водочной продажи Василий Иванович не допускал у себя. Даже на этот ярмарочный день откупщик не мог сладить с ним и отстоять свое право по цареву кабаку. Никакая полиция не присутствовала, но все шло порядком и благополучно. Накануне праздника смоляные бочки горели по дороге, шедшей к Долбину, и освещали путь, а в самый день Успения длинные, широкие, высокие, тенистые аллеи при церкви были освещены площадками, фонариками, и в конце этого сада сжигались потешные огни, солнца, колеса, фонтаны, жаворонки, ракеты поодиночке и снопами, наконец, бурак. Все это приготавливал и всем распоряжался Зюсьбир (немец из Любека, управлявший сахарным заводом Киреевского). Несмотря на

все эти великолепия, постромки у карет, вожжи у кучера и поводья у форейтора были веревочные»<sup>27</sup>.

Портрет В. И. Киреевского дополняет еще один характерный факт его биографии: как-то заехал в Долбино губернатор Яковлев. С ним была не только многочисленная свита, но и известная всей губернии возлюбленная. Карета с несколькими бричками подкатили прямо к крыльцу барского дома. Василий Иванович не впустил «красавицу» в свой дом, не дав ей, как шутили тогда, «ни оправиться, ни поправиться», и губернатор, заминая возникшую неловкость, грозящую перейти в скандал и ненужные толки по всей округе, вынужден был уехать дальше искать ночлег.

Одно время В. И. Киреевский был в своем уезде судьей по выборам. Два раза в неделю он ездил по делам службы в Лихвин в кибитке, неизменно завертываясь в свой красный плащ, который по его цвету считал предохранительным от озноба и простуды. Одни подчиненные в суде его боялись, другие уважали за твердость воли и непреклонность убеждений, справедливость и строгость в суждениях и действиях, но большинство считали чудачком и за глаза посмеивались над его главным тезисом: «Нерадение в должности – вина перед Богом».

В Василии Ивановиче Киреевском было действительно много странного. При его военной выправке в глаза броса-

---

<sup>27</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 19–22.

лась чрезвычайная неряшливость. Он любил читать и читал очень много, затворившись в своей комнате, лежа на полу. Не позволял убирать в своем кабинете, подметать и стирать пыль. Во время запойного чтения на полу собиралось огромное количество грязной посуды. Гости, приезжавшие в Долбино, в один голос говорили, что единственный чистый предмет в доме – это хозяйка. В обыденных житейских обстоятельствах Василий Иванович был наивен как ребенок. Так, живя в Москве с молодой женой еще до ее первых родов, он уезжал с утра из дома, не оставив ей денег на расходы, и она не знала, как накормить свою многочисленную дворню, а он, засидевшись в какой-нибудь книжной лавке, возвращался поздно, с кучей книг, а иногда со множеством разбитого фарфора, до которого был большой охотник.

О характере В. И. Киреевского свидетельствуют и две трогательные заметки, оставленные им в своем дневнике. Он упрекает себя в несправедливости – раз по отношению к дворовому, которого разбранил, другой раз – к крестьянину, которому запретил ехать лугом. Сохранилось и его черновое прошение на имя государя, в котором Василий Иванович предлагал способы борьбы с повальными болезнями. Было ли оно отправлено на высочайшее имя или осталось в качестве наброска? Документального подтверждения у нас нет. Но то, что мы имеем дело с высоконравственным человеком, человеком долга и гражданской ответственности – это бесспорно. Последнее особо проявилось во время наше-

ствия Наполеона.

В 1807 году В. И. Киреевский вступил в ополчение и поставил от себя двадцать ратников. «Дело было зимой, и каждое утро ратники являлись, вооруженные пиками, в большую залу долбинского дома и маршировали по команде барина. “Чур, не робеть, ребята, когда дойдет до дела, – говорил он им, – смело идти за мной, хотя б в огонь вас повел! А меня убьют, другой командир будет; точно так же и его слушаться”. “Нет, барин, – отвечал ему раз какой-то невзрачный мужичок, – где твоя голова ляжет, там и мы головушки положим”. Этот ответ полюбился Василию Ивановичу, который приказал дать мужичку четверть ржи. По весне все ратники Калужской губернии должны были съезжаться в Мосальск. К назначенному времени поднялся и Василий Иванович со своими молодцами. Перед отъездом он приказал отпереть кладовую, где покоились под крепкими замками дедовские мундиры и наряды – с золотым шитьем, работы бабушек. Там же хранились чепрак и седло, низанные бирюзой и жемчугом. Эту богатую сбрую надели на боевую лошадь Киреевского. Когда все сборы были окончены, он сел в экипаж с женой, которая хотела проводить его до Мосальска, за ним вели его лошадь и шли ратники. Но вскоре караван возвратился домой: в Мосальске было получено известие о заключении Тильзитского мира»<sup>28</sup>.

События Отечественной войны 1812 года развернулись

---

<sup>28</sup> Там же. С. 8.

в непосредственной близости от долбинского поместья. Известие о вторжении Наполеона в пределы государства Российского «разбудило всех от сладкой полудремоты, неведение о дальнейших судьбах России сделалось настоящей пыткой... Но как быть, однако? Каждый прислушивался жадно к толкам, ходившим в народе, а доверяться им не смел. Известно было лишь то, что после смоленского дела Наполеон идет по московской дороге, но думает ли он о занятии столицы или повернет на юг? Последнее предположение казалось вероподобным, и калужане сильно встревожились»<sup>29</sup>. В. И. Киреевский переговорил со своими незамужними свояченицами, Анной и Екатериной, жившими в нескольких верстах от него, в своем имении Мишенском Белёвского уезда Тульской губернии, и было принято следующее решение: для безопасности следует уезжать. Однако как быть с родной теткой сестер Юшковых, Екатериной Афанасьевной Протасовой, поселившейся в орловском имении Муратово? Оставить ее одну с двумя молоденькими дочерьми, Александрой и Марьей, в такое опасное время было невозможно. Киреевские должны были поехать к Е. А. Протасовой, а Анна и Екатерина Юшковы – в Москву к другой своей тетке, Авдотье Афанасьевне Алымовой, для прояснения обстановки. «Время было дорого: уже наступила вторая половина августа. Живо закипели приготовления к отъезду, и оба семей-

---

<sup>29</sup> Там же. С. 9.

ства пустились с Богом, по разным дорогам»<sup>30</sup>.

Добравшись до Москвы, А. П. Юшкова и Е. П. Юшкова остановились на Девичьем поле, к безграничной радости А. А. Алымовой. «Тут они узнали, что лишь немногие оставили Москву, но большинство жителей не верят в возможность занятия столицы неприятелем, тем более что генерал-губернатор ручается за ее безопасность. Однако умы волновались, каждый день приносил новые беспокойства, на улицах и площадях останавливали друг друга и спрашивали, какие известия. Вдруг разнесся слух, что партия французских пленнх под русским конвоем остановилась на Поклонной горе. Все московское общество собралось их посмотреть. Улицы города превратились в место гулянья, цуги катились одни за другими, в открытых колясках сидели разряженные дамы»<sup>31</sup>. Пленные французы «собрались толпой около костра, разложенного в поле: мундиры их были в лохмотьях, из дырявых сапог торчала солома... Приезжие предлагали им свое сильное пособие, и они принимали деньги, приговаривая, каждый раз без малейшего смущения и с чувством достоинства: “Merci, madame”, или “monsieur”»<sup>32</sup>.

Однако Москва постепенно пустела. «Народ поглядывал с недоброежелательством на экипажи, теснившиеся у застав, и роптал против дворян, которые покидали столицу на пору-

---

<sup>30</sup> Там же. С. 9–10.

<sup>31</sup> Там же. С. 10.

<sup>32</sup> Там же.

гание нехристей»<sup>33</sup>. 26 августа со стороны Бородино до столицы стал доноситься гул пушечных выстрелов, приводя в ужас ее жителей. На другой день разнеслась весть о Бородинском сражении.

Один из родственников Юшковых, Охотников, пригласил Анну, Екатерину и старуху Алымову в свое рязанское имение, куда собирался сам с престарелой матерью и двумя сестрами. «Но отъезжающих тревожила новая забота: неудовольствие народа постоянно усиливалось, так что мужчины, покидавшие Москву, подвергались неприятностям и даже опасности. Что если Охотников будет задержан? Тогда придется шести женщинам и ребенку... совершить одним далекое и небезопасное путешествие. Оставалось единственное средство к устранению беды: уговорили Охотникова надеть женское платье.

За ночь все было уложено, и 28-го августа поутру путешественники уселись в два экипажа и выехали благополучно за заставу, благодаря шляпке с лентами и шали, которою Охотников прикрывал гладко выбритый подбородок. Но дальше они встретили толпу ратников, которые остановили их вопросом: “Куда едете?” “К себе в имение”, – отвечала Анна Петровна Юшкова. “Так уж, видно, все Москву покидают, – заговорили в толпе. – Видно, не жаль выдать ее врагу на разграбление!..” “Добрые люди, – возразила Анна Петровна, – ведь вы видите, мы женщины да ребенок с нами; мы помо-

---

<sup>33</sup> Там же.

щи никакой принести не можем”. “Да вас-то мы не держим, а этих нам оставьте”. Они указывали на кучеров и лакеев. “Как же нам кучера отдать? Кто ж на козлы сядет?” “А нам что за дело? Хоть сама полезай! Мы этих молодцов не отпустим”, – и все обступили коляску. “Пошёл!” – крикнула Анна Петровна. Кучер ударил по лошадям, добрая четверня двинулась, толпа расступилась, и экипажи покатались по мостовой»<sup>34</sup>.

Путешествие прошло без особых приключений, и вскоре сестры Юшковы, А. А. Алымова и семейство Охотниковых достигли желаемых предместий Рязани.

Екатерина же Афанасьевна Протасова наотрез отказалась покинуть Муратово. Более того, она уговорила Киреевских остаться в ее соседстве, во всем полагаясь на милость Господа. Василий Иванович Киреевский так и поступил, перевезя семью в свою орловскую вотчину – Киреевскую Слободку. Там, в достаточно скромной усадьбе, он поселился не только сам, но и устроил приют для семейств, спасавшихся от французов из Минска, Смоленска, Вязьмы и Дорогобужа. В самом же Орле Киреевский по собственному почину принял в свое заведование городской госпиталь, куда во множестве свозили раненых солдат, как русской, так и французской армии. В госпитале царили вопиющие неурядицы и злоупотребления. «Страдавшие заразительными болезнями не были отделены от прочих больных; раненые, которых привозили из нашей

---

<sup>34</sup> Там же. С. 11.

армии, лежали вповалку на полусгнившей соломе; одна палата казалась грязней другой; воздух был везде заражен»<sup>35</sup>. Не щадя сил и денег, всех подчиняя своей твердой воле, В. И. Киреевский улучшил содержание раненых, увеличил число кроватей, сам руководил лечением. На его попечении оказалось около девяноста русских и французских солдат. Дни и ночи Василий Иванович проводил в заботах о телесном и душевном здоровье своих подопечных. Все его знания в области естественных наук и медицины использовались для врачевания ран и недугов. «Он знал толк в медицине: мало того, что все предписанья медиков проходили через его контроль, он прописывал сам лекарства. Каждое утро его встречали в больнице как начальника и ожидали его приказаний. Раз аптекарь отпустил ревеню больному, которому следовало принять другое; Киреевский вышел из себя, потребовал виновного и приказал ему выпить большую склянку ревеню. Проглотивши половину, аптекарь просил помилованья, но Василий Иванович был неумолим»<sup>36</sup>. Но, как часто бывает, заботы о чужих болезнях не спасают от собственных. В конце октября В. И. Киреевский вернулся домой в сильном лихорадочном состоянии: медики объявили, что он заразился больничным тифом. Возможности его спасти не оказалось. 1 ноября 1812 года – в день Косьмы и Дамиана Ассийских – Василий Иванович Киреевский умер. Он был похоронен в

---

<sup>35</sup> Там же. С. 13.

<sup>36</sup> Там же.

Успенской церкви села Долбина.

Авдотья Петровна Юшкова – мать Ивана и Петра Киреевских – увидела свет 11 января 1789 года в родовом имении Петрищеве Белёвского уезда Тульской губернии. Ее отец Петр Николаевич Юшков занимал в царствование Екатерины II видное место в тульской губернской администрации и принадлежал к известной дворянской фамилии. Ее дядя, тайный советник Иван Иванович Юшков, служил московским гражданским губернатором во время эпидемии чумы 1771 года и был женат на Анастасии Петровне Головниной.

Мать Авдотьи Петровны, Варвара Афанасьевна, была дочерью богатого русского барина Афанасия Ивановича Бунина и Марьи Григорьевны Буниной, урожденной Безобразовой. Вся их жизнь проходила в благоустроенном поместье, в селе Мишенском, которое «благодаря живописным окрестностям... и близости к городу, владелец избрал постоянным местопребыванием для своего семейства и, по тогдашним обычаям, обустроил и украсил... роскошно. Огромный дом с флигелями, оранжереями, теплицами, прудами, садами, парком и садом придавал особенную прелесть этой усадьбе, а обстановка – дубовая роща, ручеек в долине, виды на отдаленные пышные луга и нивы, на близкое село с церковью – настраивала чувства обывателей к мирному наслаждению красотой природы. Растительность в этой стороне от-

личалась чем-то могучим, сочным, свежим, чего недостает южным черноземным полосам России. Весна, разрешающая природу от суровой зимы, радуется сердце человека. Нивы, славящиеся своими очень богатыми урожаями хлебов и плодов, приносят такие удовольствия, которые не могут быть испытываемы в более северном климате»<sup>37</sup>.

Там небеса и воды ясны!  
Там песни птичек сладкогласны!  
О родина! все дни твои прекрасны!  
Где б ни был я, но все с тобой  
Душой.

Ты помнишь ли, как под горою,  
Осеребряемый росой,  
Белелся луч вечернею порою  
И тишина слетала в лес  
С небес?

Ты помнишь ли наш пруд спокойный,  
И тень от ив в час полдня знойный,  
И над водой от стада гул нестройный,  
И в лоне вод, как сквозь стекло,  
Село?

Там на заре пичужка пела;

---

<sup>37</sup> Зедлиц К. К. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского по неизданным источникам и личным воспоминаниям. СПб., 1883.

Даль озарялась и светлела;  
Туда душа моя летела:  
Казалось сердцу и очам —  
Все там!..<sup>38</sup>

А. И. Бунин, по отзывам современников, был человеком привлекательным и деятельным, а его жена, Марья Григорьевна, «соединяла с редкой добротой души и кротостью необыкновенный ум, и была притом женщина значительной для своего времени образованности и читала все, что печаталось тогда на русском языке, но никакого другого языка не знала»<sup>39</sup>.

У Буниных было четыре дочери: Авдотья, Наталья, Варвара, Екатерина и сын Иван, умерший в 1781 году, будучи студентом Лейпцигского университета. Две старшие дочери вышли замуж: Авдотья Афанасьевна за Дмитрия Ивановича Алымова, с которым уехала в Кяхту, взяв с собою младшую сестру Екатерину, а Наталья Афанасьевна – за Николая Ивановича Вельяминова. Таким образом, к началу 80-х годов XVIII века в усадьбе Буниных оставались только Афанасий Иванович с женою и средняя их дочь Варвара, впоследствии мать Авдотьи Петровны Юшковой.

Незадолго до этого в Мишенском разыгрались события, осложнившие семейную идиллию, но сыгравшие огромную

---

<sup>38</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. М.: Издание Товарищества И. Д. Сытина, 1902.

<sup>39</sup> Там же. С. VII.

роль в истории русской литературы и оказавшие непосредственное влияние на жизнь Авдотьи Петровны и ее сыновей, Ивана и Петра. В воспоминаниях запечатлелось следующее: «Еще в начале 70-х годов, когда один из крестьян села Мишенского отправлялся маркитантом в русско-турецкий поход, Афанасий Иванович шутя сказал ему: “Привези мне, братец, хорошенькую турчанку; видишь, жена моя совсем состарилась!” Крестьянин буквально исполнил желание барина, сказанное им в шутку, и вернулся в Мишенское с двумя турчанками, взятыми в плен под Бендерами: одна из них, Фатима, была ребенком 11 лет и вскоре умерла; другая, Сальма, была 16-летней вдовой: муж ее был убит во время штурма Бендер. Сальма понравилась Марье Григорьевне своею кротостью, ловкостью и привлекательной наружностью и была взята в господский дом нянчить тогда еще маленьких Варвару и Екатерину, а вскоре затем, выучившись русскому языку и русской грамоте, заняла место домоправительницы и стала заведовать домашним хозяйством Буниных, поселившись в одном из боковых строений усадьбы. В это время она была окрещена и при крещении названа Елизаветой Дементьевной. Афанасий Иванович увлекся красивой и кроткой молодой турчанкой и переехал из господского дома во флигель, где жила Елизавета Дементьевна. Эта связь очень тяготила Марью Григорьевну; она запретила дочерям ходить к Елизавете Дементьевне, а ей самой являться в господский дом, а когда замужние дочери уехали, жизнь Марьи

Григорьевны в опустелом большом доме стала еще грустнее.

Так, может быть, тянулось бы очень долго, если бы у Сальмы, после трех дочерей, вскоре умерших, не родился, наконец, 29 января 1783 года сын. С этих пор в семье Буниных вновь наступило согласие при следующих обстоятельствах.

В крестные отцы мальчику Бунин пригласил Андрея Григорьевича Жуковского, бедного дворянина, проживавшего в их доме, общего друга всех членов семьи, и просил его усыновить ребенка, а сам на время уехал из Мишенского.

Андрей Григорьевич попросил у Марьи Григорьевны позволить ее дочери, Варваре Афанасьевне, быть крестной матерью новорожденного. Она согласилась, и крещение мальчика состоялось в большом господском доме в ее присутствии. По воспоминаниям о собственном сыне, Марья Григорьевна с растроганным сердцем приняла живое участие в священном обряде и в самом младенце. Мальчик был назван Василием и получил отчество и фамилию от усыновившего его Андрея Григорьевича Жуковского. С этих пор в семье водворился мир, Афанасий Иванович переселился в большой дом, Елизавета Дементьевна глубоко привязалась к Марье Григорьевне. Ребенок же стал предметом самых нежных забот всего семейства»<sup>40</sup>. Это стало особенно важно после 1785 года, когда из Мишенского в Тулу после замужества уехала последняя дочь Буниных – Варвара Афанасьевна. Правда, одиночество Афанасия Ивановича и Марьи Гри-

---

<sup>40</sup> Там же. С. VII–VIII.

горьевны длилось недолго. На воспитание к дедушке и бабушке первоначально была направлена дочь Варвары Афанасьевны и Петра Николаевича Юшковых Анна, родившаяся слабым и хилым ребенком. После смерти родами Натальи Афанасьевны Вельяминовой Бунины забрала к себе еще трех своих внучек. В мае 1797 года умирает от чахотки В. А. Юшкова, и в Мишенском оказываются все ее дочери: Анна, Марья, Авдотья, Екатерина. К родственникам жены переселился также овдовевший П. Н. Юшков.

В скором времени в доме Буниных-Юшковых сложился особый детско-юношеский круг, доходивший в отдельные периоды до 17 и более человек: Василий Жуковский и выросшая с ним Анна Юшкова, ее три родные сестры и три двоюродные, «одна родственница Бунина, одна бедная дворянка – Сергеева, еще три девочки, и три взрослые девицы лет по 17, и один мальчик, сын доктора Риккера»<sup>41</sup>.

Для маленького Жуковского, находящегося в обстановке особой женской нежности, Афанасий Иванович, пытаясь проявить некоторую строгость, пригласил из Москвы учителя-немца Якима Ивановича. Бывший портной в качестве мер воздействия к избалованному и изнеженному мальчику стал применять розги и горох. Все попытки высечь ребенка или поставить его голыми коленями на горох сопровождались такими воплями, что Марья Григорьевна не выдержала, и в самое непродолжительное время учителя пришлось

---

<sup>41</sup> Там же. С. X.

отправить назад. Не случайно свое детство В. А. Жуковский вспоминал, как дни беспечного счастья и свободного, искреннего развития своих наклонностей, отмечая, что «беззаботное спокойствие... баловало его с колыбели»<sup>42</sup>. Большую часть времени, до 10-летнего возраста, ребенок проводил среди поэтической деревенской природы, в обществе бесконечно любящих его взрослых и сверстниц, над которыми он мудрил, как хотел: девочки ему вполне повиновались. Свободно отдаваясь своему воображению, он строил их в ряды, представлял себя полководцем, заставлял их брать укрепления, сажал под арест между креслами, даже наказывал линейкой. Целые дни бегал он со своими подругами в тенистом парке, в саду, на полном приволье.

И все же воспитанием детей в семье Буниных-Юшковых занимались с особой тщательностью. Немецкий язык и литература изучались со специально приглашенными учителями. Французский язык и аристократические манеры усваивались от гувернанток и гувернеров, эмигрировавших из Франции в период революции, в частности от *madame Dorer*. Занятия по русскому языку проводил заведующий тульским народным училищем Феофилакт Гаврилович Покровский – чрезвычайно образованный для своего времени человек. В «Политическом журнале» регулярно печатались его статьи о Белёвском уезде. По предложению министерства народного

---

<sup>42</sup> Там же. С. IX.

просвещения его сочинение «Философ горы Алаунской»<sup>43</sup> было напечатано, как тогда говорилось, «на казенный кошт» и, за вычетом издержек, отдано в его пользу.

Просвещение и добродетель! Таковы были для Феофилакты Гавриловича важнейшие предметы и цель истинного воспитания. Идеалом же его была невинная сельская жизнь. Лучшее для себя похвалою он считал, если его называли филантропом. В наказе Екатерины II Покровский особенно ценил слова относительно того, что лучше простить десять виновных, чем наказать одного неповинного. М. М. Херасков хвалил его мысли и чувства. Заветною мечтой Ф. Г. Покровского было улучшение правосудия в России. Не случайно он встретил вступление на престол императора Александра I торжественным пророчеством: «Что он (Александр I) победит их (свои народы) любовью, кротостью и милосердием. Весы правосудия не будут наклоняться по пристрастиям»<sup>44</sup>.

Ф. Г. Покровский был очень уважаем и у Буниных, и у Юшковых – ездил давать уроки детям в Мишенское, обучал молодежь в доме Юшковых в Туле, принимал большое участие в литературных вечерах Варвары Афанасьевны, на которые съезжалось избранное общество и где исполнялись музыкальные новинки при непосредственном участии радушной, образованной и талантливой хозяйки. Пелись сентиментальные романсы Нелединского, декламиро-

---

<sup>43</sup> Алаунские горы – Валдайская возвышенность.

<sup>44</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. IX.

вались только что вышедшие стихи Дмитриева, читались последние произведения Карамзина. 12-летний Жуковский выступил с постановкой своей трагедии «Камилл, или Освобождение Рима»: выбрал для себя роль героя пьесы, нарядил всех учениц домашнего пансиона, от 17-летнего возраста до трехлетней Екатерины Юшковой, в одежды римских консулов и сенаторов.

Еще при жизни Афанасия Ивановича Бунина (он скончался в 1791 году) был установлен особый порядок жизни: поздней осенью семья приезжала в Тулу, а ранней весной возвращалась в Мишенское. Зимы частенько Бунины проводили в Москве. В одну из таких зим Марья Григорьевна Бунина приняла решение выдать шестнадцатилетнюю внучку Авдотью Петровну, оставшуюся после смерти в 1803 году отца Петра Николаевича Юшкова полной сиротой, замуж за по сватавшегося к ней Василия Ивановича Киреевского. Жених был вдвое старше своей невесты, однако 16 января 1805 года свадьба состоялась.

В. И. Киреевский страстно любил свою жену и с усердием продолжил ее образование. Вместе они стали читать серьезные, в особенности исторические, книги, сформировавшие в Авдотье Петровне правдивость в суждениях, тонкость в восприятии, терпимость ко всякого рода взглядам.

После смерти мужа, Василия Ивановича Киреевского, двадцатитрехлетняя вдова была в отчаянии и с тремя детьми, Иваном, Петром и Марьей, родившейся 8 августа 1811 года, переехала на жительство к своей тетке Екатерине Афанасьевне Протасовой в Муратово. Е. А. Протасова и две ее дочери: Александра Андреевна, крестница В. А. Жуковского, вошедшая в русскую литературу в образе Светланы из его одноименной баллады, и Марья Андреевна, к которой поэт пронес нежную и глубокую любовь через всю свою жизнь, – встретили осиротевшее семейство с радостью. Свои услуги предложил племяннице и Жуковский. К этому времени Василий Андреевич окончил Благородный пансион Московского университета, куда его направили по решению домашнего совета, послужил по светской линии – в Московской конторе соляных дел – и по военной – в ополчении.

Пребывание В. А. Жуковского в Благородном пансионе занимает время от января 1797 до 1801 года. В важнейший для юноши период он находился под покровительством близкой Буниным семьи Тургеневых; глава этой семьи, Иван Петрович, был директором Московского университета. Здесь сложились и проявились первые литературные стремления Жуковского, здесь завязались и те дружеские отношения, которые остались не только неразрывными и са-

мыми лучшими в его жизни, но и определившими его последующее общественное положение. Впоследствии все это в полной мере скажется на детях А. П. Киреевской, в воспитании и образовании которых, социальном обустройстве, творческой и личной судьбе без Василия Андреевича не обошлось. Жизни самой Авдотьи Петровны и ее старших сыновей, Ивана и Петра, навечно связаны с именем выдающегося русского поэта. И не только по родству. Здесь имело место нечто большее... высшее... душевное... духовное...

Год учреждения благородного пансиона при Московском университете определяется по-разному: то относится к 1776 году, то к 1779. Сначала воспитанники пансиона посещали Дворянскую гимназию, располагавшуюся непосредственно в стенах Московского университета. Затем, когда число их разрослось, пансион был переведен в 1790 году на Тверскую улицу, в дом межевой канцелярии, пожалованной университету императором. В 1791 году инспектором пансиона был назначен его преподаватель естественной истории Прокопович-Антонский, и уже при нем и по его предложению пансион был преобразован в самостоятельное учебное заведение с новой программой, имевшей целью подготовить молодых людей к военной и гражданской службе. Антон Антонович Прокопович-Антонский был убежден, что «ум молодых людей преимущественно должно обогащать теми знаниями, кои больше имеют отношения к будущему их состоянию»<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Там же. С. XII.

Чертою времени были литературные и нравственные стремления воспитанников Благородного пансиона, поддерживаемые и в университетской среде. Не случайно в день годовщины Московского университета, в Татьянин день, 12 января 1801 года, бывшими студентами университета при активном участии воспитанников Благородного пансиона было основано «Дружеское литературное общество», имевшее целью литературное творчество и нравственное совершенствование. Здесь сошлись Жуковский и братья Тургеневы, Александр и Андрей, А. Ф. Мерзляков, будущий профессор Московского университета, граф Д. Н. Блудов и С. С. Уваров, будущий министр народного просвещения (оба не учились в Благородном пансионе, но получили солидное домашнее классическое образование). Позднее к Литературному обществу примкнул князь П. А. Вяземский.

Из Благородного пансиона В. А. Жуковский вышел первым учеником, награжденным всеми отличиями, но с довольно критическим отношением к своей образованности, о чем свидетельствуют записи в личном дневнике и письма: «Я не испорчен, но я нимало не образован» (Дневник за 1805 год)<sup>46</sup>; «Что мешало хорошо воспользоваться пансионом?» (Дневник за 1806 год)<sup>47</sup>, «Я совершенный невежда в истории... мне нужна будет какая-нибудь *краткая*, но хотя

---

<sup>46</sup> Полное собрание сочинений В. А. Жуковского в двенадцати томах. Т. 12. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902. С. 120.

<sup>47</sup> Там же. С. 133.

несколько сносная *русская историйка*... Ах, брат, сколько погибло времени!» (Письмо А. И. Тургеневу 7 ноября 1810 года)<sup>48</sup>; «Я, к несчастью, не ученый; посреди просвещенной Европы такой недостаток живо чувствителен» (Письмо П. И. Полетике 1821 года)<sup>49</sup>. 7 ноября 1816 года Василий Андреевич пишет из Дерпта Авдотье Петровне: «Для мужчины, в нынешний век, в котором от других отставать не должно, в этих науках (истории, географии, натуральной истории) нужно знание *фундаментальное* – я сам вам в этом пример! Мне часто приходится плохо от недостатка в этом фундаментальном знании! И я бы не желал, чтобы с детьми вашими было то же, что со мною», – и настоятельно советует подготовить ее сыновей, Ивана и Петра, не в Благородном пансионе Московского университета, а именно в университете (воспитанники, окончившие курс Благородного пансиона, теряли право поступать в сам университет), выражая уверенность, что «университет, не повредя бы их нравственности, приготовил бы их для деятельной жизни»<sup>50</sup>.

По окончании Благородного пансиона, по настоянию родных, восемнадцатилетний Жуковский поступил на службу в Московскую контору соляных дел, которую оставил менее чем через год. На известие о решении Василия Андреевича выйти в отставку ему ответила в письме Марья Григорьевна

---

<sup>48</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 440–442.

<sup>49</sup> Там же. С. XIII.

<sup>50</sup> Там же.

Бунина: «Я матушке твоей письмо не дала. Она очень грустить будет, а лучше сам приедешь, так и она спокойна будет, а твое письмо ты писал в горячке самой, то мог бы ее убить. Словом, тебе скажу, что всякая служба требует терпения, а ты его не имеешь. Теперь осталось тебе ехать ко мне и ранжировать свои дела с господами книжниками. Мадам едет наша в Москву, вот и лошади готовы. Если мало, то найми еще и приезжай. Посоветуйся со своими там милостивцами, как они тебе скажут. Я писала к Авдотье Афанасьевне<sup>51</sup>, чтобы тебя оставить, и паспорт дали порядочный, а то мне очень больно: у меня никто не знает про это, только Петр Николаевич<sup>52</sup> да Аня<sup>53</sup>. Ну, ранжируйся сам хорошенько. Прости, приезжай»<sup>54</sup>.

В Мишенском Жуковский снова погружается в обстановку любви и заботы. Он берется за перевод элегии Томаса Грея «Сельское кладбище» (*Elegy in a country churchyard*) и готовый текст направляет Н. М. Карамзину в «Вестник Европы». Вся молодая компания, населявшая дом Буниных, с тревогой ожидала, как отнесется знаменитый писатель к произведению их молодого кумира. К общему семейному торжеству, Карамзин не только напечатал перевод, но и снабдил его своим одобрительным замечанием.

---

<sup>51</sup> Авдотья Афанасьевна Алымова.

<sup>52</sup> Петр Николаевич Юшков.

<sup>53</sup> Анна Петровна Юшкова.

<sup>54</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. XVIII.

И все же ни добросердечность родственников, ни сельская идиллия не могли сломить в Василии Андреевиче тревожного чувства «священной меланхолии» и метущегося сознания, связанных с неопределенностью его положения. В сентябре 1805 года Жуковский обращается к А. И. Тургеневу: «Благодарю тебя, мой любезный Александр, за твое письмо. Оно меня тронуло до слез; нет ничего приятнее мысли: есть добрый, прекрасный человек, для которого я очень много значу и который будет моим помощником во всем добром, во всем прекрасном, и который удержит меня, если буду следовать какому-нибудь заблуждению, или ободрит, если что-нибудь приведет меня в уныние. Вот вещи, которые мне всего нужнее и которых, по несчастью, не имею. Иногда чувствую в себе какую-то необыкновенную живость, которая делает для меня свет прекрасным, и я воображаю вдали какую-то счастливую участь, которой ожидание волнует мою кровь. Иногда все это исчезает; те же самые чувства, которые меня радовали, приводят меня в уныние, самое тягостное, своею вялостью. Но теперь эти минуты вообще реже, гораздо реже. Мой ум получил какую-то особую твердость; по крайней мере, во многие минуты был очень ясен и деятелен. Тем тяжелее минуты бездействия. Хотел бы пробыть в одинаковом живом положении, и огорчаешься вдвое, когда оно прекращается. Вот для чего желал бы иметь вас, братцы, с собою. Как прекрасно быть хорошим человеком в глазах друзей! Это я теперь очень чувствую. Напротив, в глазах тех

людей, которые нас не понимают или имеют совсем другой образ чувств и мыслей, делаешься мертвым, сомневаешься в самом себе, теряешь свою свободу чувствовать и мыслить, теряешь самое желание быть деятельным, теряешь надежду – верную, единственную причину всякой деятельности. Вот для чего восхищаюсь необыкновенно вояжем: деятельность, свобода, разнообразие предметов, и друзья – свидетели моих чувств, и мои наставники, мои помощники. Какая прекрасная перспектива. Я буду очень несчастлив, если этот план не исполнится. *L'âme est un feu, qui s'éteint, s'il ne s'augmente*<sup>55</sup>, сказал Вольтер. Моя душа не имела еще пищи, не пробуждалась, это верно; воспитание или, лучше сказать, все то, что было со мною со времени моего младенчества (потому что я не имел воспитания), вместо того, чтобы образовать ее и усилить, только что ее усыпило; я был один совершенно, то есть в кругу множества людей, которых имел с собою, был некоторым образом отделен от всех. Одним словом, прекрасно бы было всем нам жить вместе, – я называю жить, не *дышать*, не *спать* и *есть*, но *действовать* и наслаждаться своею деятельностью; следовательно, эта деятельность должна вести к чему-нибудь высокому, иначе можно ли будет ею наслаждаться? Но я буду отвечать на твое письмо; отвечая, много скажу о самом себе, о моей цели и о том, что мы можем и должны сделать друг для друга...

Во-первых, я не думаю и не думал, чтобы мы холодели

---

<sup>55</sup> Душа есть пламя, которое гаснет, если не усиливается (*фр.*).

друг к другу. Этого нет; а я сказал тебе, в прошедшем моем письме, что мы вообще не были так тесно связаны, как бы мне этого хотелось. Это правда; может быть, этому причиною обстоятельства, которые нас так надолго разлучили; а разлука, согласишься сам, не усиливает дружбы, когда она не иное что, как простая связь, основанная на привычке быть вместе, сделанная обстоятельствами, приятная, но не такая необходимая, без которой бы нельзя было обойтись, которая бы составляла важную часть жизни (я разумею моральную жизнь). Такой связи между нами не было, согласишься сам, даже и теперь нет, но будет, должна быть, в этом я уверен: надо только увериться, что мы не просто друзья, не такие, которым только приятно встречаться, быть вместе, но такие, которым нужно быть друзьями, на которых дружба имеет то же влияние, которое должна иметь религия на всякую благородную душу, то есть самое благодетельное, святое, оживляющее, ободрительное. Нельзя сказать одним словом, мне тебе, тебе мне: я твой друг; мы должны вместе трудиться, действовать, чтобы после сделаться достойными дружбы и, следовательно, быть друзьями. Дружба есть добродетель, есть все, только не в одном человеке, а в двух (много в трех или четырех, но чем больше, тем лучше). Если скажут обо мне: он истинный друг, тогда скажут другими словами – он добродетельный, благородный человек, оживленный *одним* огнем вместе с другим, который ему равен, который его поддерживает собою, а сам поддерживается им. Я не спраши-

ваю, друзья ли мы? На этот вопрос ни ты, ни я, ни Марзляков<sup>56</sup>, никто из нас не может ответить *да!* Но как прекрасно соединиться для того, чтобы быть друзьями, действовать для самих себя, потом наслаждаться своим собственным делом; жить друг для друга, говорить себе во всяком случае. я делаю не для себя одного, есть свидетели моих дел, которых не боюсь, но которые составляют для меня самое верховное судилище! Видишь ли, что я говорю не так, как энтузиаст; что все, мною сказанное, не мечта, но может и должно исполниться, потому что согласно с целью Провидения, которое всему велит совершенствоваться. Только те вещи могут не удаваться, которые зависят от случая или посторонних обстоятельств; но все, что ни предлагаю, зависит от нас самих, неразлучно с нами, – как этому не исполниться! Я вам всем: тебе, Мерзлякову, Блудову<sup>57</sup>, – должен сказать откровенно, что не был никогда привязан к вам с отменной силою, так же, как и вы все ко мне (лучше это видеть, нежели не видеть, потому что, увидевши, узнаешь причину и поправишь). Мы все сходились вместе *случайно*, с удовольствием; но, я не знаю, во мне не было этого внутреннего, влекущего чувства, которое бы я желал иметь, будучи вместе с моими друзьями, одним словом, чего-то не было такого, что всего вернее в дружбе, – как это назвать, не знаю. Никого из вас, это разумеется, я не любил с такой *привязанностью*,

---

<sup>56</sup> Алексей Федорович Мерзляков.

<sup>57</sup> Дмитрий Николаевич Блудов.

как брата<sup>58</sup>, то есть, не будучи с ним вместе, я его воображал с сладким чувством, был к нему ближе, ему подавал руку с особенным, приятным чувством; я не знаю, как-то отменно весело было чувствовать его руку в моей руке; между нами было более сродства, по крайней мере, с моей стороны. Но что делать! Даже при жизни его мы не были то, что бы могли быть; в то время, когда он был со мною, в нас было больше (то есть во мне) ребяческого энтузиазма; потом мы расстались, потом все кончилось<sup>59</sup>; одним словом, моя с ним дружба была только зародыш, но я потерял в нем то, чего не заменю или чего не возвращу никогда: он был бы моим руководцем, которому бы я готов был даже покориться; он бы оживлял меня своим энтузиазмом. Но, братцы, мы можем быть друг для друга многим, очень многим, всем, со временем, разумеется, не вдруг. Для чего же и жить, как не для усовершенствования своего духа всем тем, что есть высокого и великого? Одному этого сделать почти не можно. Будем же друзьями, то есть верными товарищами на пути к добру. Дружба есть добродетель, еще раз повторяю. Я забыл сказать о причине той малой привязанности (или, справедливее, не довольно сильной, малою ее нельзя назвать, потому что это будет неправда), которая была между нами. Я думаю, та причина, что вся наша дружба была не иное что, как ребячество,

---

<sup>58</sup> Речь идет об Андрее Ивановиче Тургеневе.

<sup>59</sup> А. И. Тургенев умер в 1803 году. Именно ему В. А. Жуковский посвятил элегию «Сельское кладбище».

как простая связь, не на твердом основании, без всякой цели, а сделанная случаем, так же, как и все светские дружбы и связи. Положим себе цель (какую знаешь), пойдем по ней вместе, не попереча друг другу, но помогая, но воспламеняя друг друга при всяком случайном ослаблении. Тогда не одна склонность соединить нас, но благодарность, почтение взаимное и даже чувство необходимости в такой связи, которая должна привести нас наверно к счастью. Все, что я к тебе теперь писал, все сказано без особенного натянутого чувства, а просто, с некоторым твердым и очень приятным уверением. Чувства очень меняются, потому что все на них имеет влияние; я говорю такие чувства, которые ни на чем не основаны, а вдруг, на время, тебя воспламеняют; но чувства спокойные, утвержденные умом, тверды и навсегда остаются, потому что, имевши их в спокойную, обыкновенную минуту, всегда можешь возобновить, не выходя из своего обыкновенного положения. Это я знаю по частному опыту. Очень нередко бывал я в отчаянии, не находя в себе того сильного чувства, которое в другое время имел; это только от того, что это сильное чувство, неестественное, или, лучше сказать, необыкновенное есть феномен, который не всегда возобновлять можешь свободно. Теперь дурное расположение, которое так часто прежде меня мучило, не имеет на меня влияния, я дерусь с ним умом и часто – *vive la raison!*<sup>60</sup> – побеждаю его.

---

<sup>60</sup> Да здравствует ум! (*фр.*)

Но я написал почти четыре страницы, а еще очень мало сказал о том, что думал прежде. Я заболтался, но, право, говорил то, что ты должен принять, и, кажется, все, сказанное мною, навсегда во мне останется, тем более, что я все думал, все говорил без моего прежнего энтузиазма, который так ветрен и переменчив. Из этого, однако ж, не должен заключить, что будто я хочу отказаться совсем от энтузиазма; напротив, я хочу его усилить, укоренить, только ушибить ему несколько крылья, сделать его спокойнее, постояннее: хочу, чтобы он меня освещал, а не ослеплял. И это даже должна сделать дружба: один будешь не так смел, а то, что воспламенит и будет воспалять многих в одно время, то покажется не пустою мечтою, а чем-то рассудительным, основательным. Видишь ли, что я хочу быть энтузиастом по рассудку: *C'est une rareté!*<sup>61</sup>

Оставляю до другой почты то, что я хотел тебе сказать о самом себе, то есть о своем характере, о моей цели в жизни, вообще моей частной жизни отдельно от нашей общей, которую должна нам дать дружба. Надобно об этом подумать еще; сверх того, я что-то устал; ведь не вдруг привыкнешь к продолжительному размышлению. Эта наука труднее всякой, особливо когда человек прожил 23 года на сем свете, не подозревая, чтобы можно было находить приятность в размышлении. Это отчасти мой жребий, но я знаю этому причину, следовательно, перемену это, с вашею помощью, мило-

---

<sup>61</sup> Это редкость (*фр.*).

стивые государи, друзья мои! Это будет отныне моим обыкновенным припевом»<sup>62</sup>.

Характерно и другое письмо Жуковского Тургеневу: «Сейчас получил твое письмо и сейчас на него отвечаю. Благодарю тебя, брат, любезный друг; ты меня душевно тронул, тронул тем, что мне захотел поверить свои чувства: это доказывает, что я тебе нужен и что ты точно хочешь любить меня. Признаюсь, я несколько боялся; думал почти, что я не совершенно важный человек для тебя, что тебе можно обойтись без меня. Тон твоего письма доказывает мне противное; он трогает меня душевно. Одним словом, нам надобно быть друзьями, товарищами в этой бедной жизни, в которой ничто не радует, по крайней мере, не радует продолжительно; одна мысль будет меня всегда восхищать, мысль о таком человеке, как ты, которого дружба должна быть для меня светильником. Я чувствую, брат, что я стал несколько способнее, против прежнего, быть человеком, то есть не двуножным животным без перьев, но человеком в твоём смысле, несколько способнее для дружбы. Но что делать! Здесь я один; почти все, что вокруг себя вижу, мне не отвечает, а мне нужна подпора. О, моя жизнь прошла не так, как бы должно было. Ты имел перед собой брата, батюшку – такие люди! Но я вечно прозябал, почти один, хуже, нежели один, потому что не был оставлен, не был брошен, следовательно, не имел нужды действовать, мог спать умом и телом, и спал и

---

<sup>62</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 430–432.

проснулся очень недавно, и по сию пору не умею владеть собою. Эта неподвижность, этот душевный паралич, который часто чувствую, приводит меня в отчаяние. Всякий раз, когда вспомню о брате, то живее чувствую цену его и потерю. Что бы он был для меня теперь? Кажется, мне теперь жаль его больше, нежели тогда, когда мы его лишились. Я теперь больше чувствую самого себя, больше знаю цену настоящую жизни и больше понимаю, для чего я живу. Дружба его, как она ни была коротка и, как я ни был ничтожен в то время, когда его знал, оставила что-то неизгладимое в душе моей: весь энтузиазм к доброму, все благородное, что имею, все, все лучшее во мне должно принадлежать ему. Мне кажется, всякий раз, когда об нем вспомню, стать бы на колени, для чего – не знаю; но какое-то особое чувство меня к этому побуждает. Ах, брат, нам надобно жить на свете не так, как живут обыкновенно, жить возвышенным образом; но я один ничего не сделаю: мне необходима подпора. Я найду ее в дружбе, и в твоей дружбе. Дай руку, но только дай ее от всего сердца и не ожидай найти ничего слишком отменного: я должен еще быть образцом для дружбы; но кажется мне, если не ошибаюсь, теперь стал я зреее, несколько лучше. Нам надобно помогать друг другу, оживлять друг друга делами и мыслями. Бывают такие минуты, в которые жизнь кажется чем-то пустым, в которые самое добро кажется ничтожным, ничего не хочешь, ничего не считаешь нужным и важным; такие состояния души часто очень долго продолжаются; на-

добно, чтобы какая-нибудь неожиданность их уничтожила, и в такие-то минуты всего нужнее дружеская подпора. По твоему письму заключаю, что ты во все это время не был счастлив, страдал душевно; вообрази ж, что я почти завидую этому состоянию: душа твоя была, по крайней мере, не в бездействии. Я бы даже иногда желал, чтобы какое-нибудь потрясение меня разбудило, чтобы я мог с чем-нибудь бороться и, следовательно, напрягать все свои силы: либо пан, либо пропал! Всякое состояние имеет свою горечь. Излишнее спокойствие усыпляет, если оно не приобретено трудом, не есть отдых, а всегдашнее, постоянное состояние. Излишнее волнение изнуряет, следовательно, может быть также убийственно для души, которая, видя свою неспособность действовать, отказывается от деятельности и теряет бодрость. Мне кажется, ты был в последнем положении, а я часто бываю в первом. Иногда не вижу перед собою ничего, все задернуто каким-то густым туманом, сидел бы поджавши руки и закрыв глаза, больше ничего! Но это состояние оттого так тягостно, что не можешь его не чувствовать, что видишь, как оно низко, и не находишь в себе довольно сил, чтобы из него вырваться; оно хуже самого ничтожества, которое, по крайней мере, нечувствительно. Надобно, брат, и мне, и тебе назначить себе постоянную цель; видя ее вдали, по крайней мере, не будешь в нерешимости, будешь знать, чего хочешь, и следовательно, будешь стараться получить. Если минуты расслабления и случатся, то, конечно, не будут так продол-

жительны: взгляд на будущее, на тот предмет, который сам себе избрал, будет оживлять душу и возвращать ей прежнюю ее силу и бодрость. Так, брат, я понимаю и иногда чувствую, что ничто так не возвышенно, как иметь твердую, постоянную уверенность в бессмертии: это единственная цель наша. Как должна быть велика, чиста, непобедима та душа, в которой чувство бессмертия всегда живо и всегда присутственно! Вот все основания морали, и тот человек должен благословлять судьбу, кто смолоду напитан возвышенными понятиями о бессмертии: он не может не быть добродетельным, по крайней мере, никогда не будет дурным. С этой стороны счастливец. А я? Брат! Брат! Скажу тебе, как Карл Моор, который смотрит на ясное заходящее солнце и вспоминает о том, что он был прежде. Я не вспоминаю о прошедшем, потому что оно мало оставило на душе моей; но воображаю, что бы я был, когда бы прошедшее было не таково, каково оно было! В прошедшем не вижу ничего, кроме нескольких часов, проведенных вместе с братом; и те прошли почти неприметно: я был не в состоянии ничем пользоваться и в самом деле ничем не пользовался! Наша дружба была зародыш, который совершенно увянул при своем начале; теперь ничего не воротить! Воспользуемся тем, что можем иметь. Мы, кажется, двое много можем. По крайней мере, я вместе с тобою! Ты должен быть согревателем моей души, должен поддерживать во мне чувство бессмертия. Если оно укоренится в душе нашей, то жизнь наша пройдет не даром. Глав-

ное, единственное, что мы друг для друга делать можем, есть взаимное старание возвышать нашу душу; все прочее само собою делается. Кто дал себе высокие чувства, тот дал себе все. В свете должен казаться странным тот человек, который имеет свою целию бессмертие, совершенство; но нашей цели должен никто ни знать, ни видеть: она должна быть сокрытою; взгляд света может ее обезобразить в собственных наших глазах. По крайней мере, я за себя не совсем ручаюсь, и для того-то требую подпоры, защиты против самого себя: я не приучен ни к какой деятельности, ни к душевной, ни к телесной, следовательно, не уверен, могу ли с чем-нибудь бороться и что-нибудь победить. Я живо себе представляю, какое блаженство должна давать прямая религия; она возносит человека выше всего, выше самой его личности; но я только представляю это: я в себе не нахожу того сильного, внутреннего, неизгладимого чувства, которое должно быть твердейшим основанием религии. Все, что я видел вокруг себя по сию пору, должно было если не отвращать, то, по крайней мере, поселять во мне совершенное равнодушие к религии: я видел христиан на словах, которые не имеют понятия о возвышенности чувств христианских, о бессмертии и пр.; несогласие чувств и дел с правилами и словами, всегда замечаемое мною с колыбели, должно было произвести во мне это неуважение и равнодушие. Я должен теперь, если можно, победить привычку, уничтожить старое, чтобы поселить в себе что-нибудь хорошее; сверх того необходимо нужно

что-нибудь такое, что бы сильно меня к этому подвигнуло, а этой-то побудительной причины недостает. Дай мне понятие о религии твоего батюшки. Она не должна быть обыкновенною, и если ты в ней уверен, то почему я не могу быть уверен? Эти вещи самые важнейшие, потому что на них должно основываться все наше бытие, должны быть между нами общими, по крайней мере, столько общими, сколько это возможно. Весело и прекрасно иметь побудительную причину во всех случаях жизни; по крайней мере, одна только побудительная причина у всех и быть может: искание совершенства. И что же дружба, когда она не будет пособием в этом искании? Друг, жена – это помощники в достижении к счастью, а счастье есть внутренняя, душевная возвышенность.

Wem der *grosse Wurf* gelungen  
Eines Fremdes Freund zu sein,  
Wer ein holdes Weib errungen...<sup>63</sup>

Эти стихи я нынче очень чувствую. И как много такого, что прежде пропускал мимо ушей, теперь сделалось важным и значащим! Но я все говорю о себе, а еще не сказал ни слова о тебе. Ты описываешь мне свое душевное уныние, а не говоришь ни слова о том, что произвело его. Что такое? Или не лишние ли мои вопросы? Но с тобою должно было что-

---

<sup>63</sup> Кому выпал великий жребий быть другом друга, кто добыл себе милую жену (нем.).

нибудь случиться. Если тебе тяжело рассказывать, то не рассказывай. Я бы хотел быть с тобою. Это бы, может быть, полезно было бы для тебя, или хотя несколько облегчительно, и для меня также полезно; но две причины меня здесь удерживают. Первая то, что мне совершенно не с кем приехать; вторая та, что я должен и хочу заплатить самый важный долг до своего отъезда в чужие края: следовательно, принужден работать. Я и здесь лениво работаю, потому что иногда, правда, ничто нейдет в голову, а в Москве и подавно буду лениться и не иметь времени. Итак, видишь, что мне необходимо нужно здесь остаться, хотя и желал бы в Москву. Сверх того построен дом<sup>64</sup>; я уезжаю надолго, надобно все оставить без себя в порядке, чтобы матушка не имела хлопот, и эти совсем не поэтические занятия часто меня бесят. Одним словом, я должен пробыть здесь всю весну и лето; в конце лета располагаюсь ехать. Думаю, вместо вояжа и переезда из места в место, остаться в каком-нибудь университете, и именно в Ене<sup>65</sup>, где, говорят, очень дешево жить и который малым чем уступит Геттингену. Мне описывал эти места один немец, который учился в Ене у Нимейера и который хочет мне дать рекомендательные письма. Путешествовать, в теперешних обстоятельствах, не совсем будет способно. Лучше

---

<sup>64</sup> Жуковский занимался строительством небольшого дома в Белёве, что значительно увеличило его долги.

<sup>65</sup> Йена (нем. *Jena*) – город в Германии (Тюрингия); знаменит своим университетом, открытым в 1558 году.

учиться. С тремя тысячами, которые дает мне Антонский<sup>66</sup>, могу прожить без нужды довольно времени в Ене. Ученье теперь мне всего нужнее, потому что я совсем ничего не знаю, а кажется, время что-нибудь знать. Что ж Николай<sup>67</sup>? Поедет ли он, если я поеду? Или не раздумала ли матушка<sup>68</sup>? Признаюсь, эта мысль меня радует быть ему товарищем: мы бы вместе стали трудиться. Он, мне кажется, человек будет не пустой. Что такое он написал для акта? Нельзя ли прислать? Уверь его, пожалуйста, что он во мне найдёт самого верного товарища. Я для себя и для него ожидаю величайшей пользы от путешествия. Опытность, познания, деятельность – все можно получить в это время. Путешествие должно положить основание всей моей будущей жизни; теперь еще не знаю, что я, следовательно, не знаю, на что гожусь; но тогда, конечно, узнаю. К тому же мне необходимо надобно учиться, самому никак нельзя во всем успеть, особливо одному; мне хочется непременно сделать из себя все то, что теперь осталось мне возможным, все лучшее, полезное: кто это имеет целью, тот, по крайней мере, не сделает ничего дурного. Еще раз повторяю: будем помогать друг другу, будем оживлять друг друга словами, делами, всем. Напиши ко мне больше о себе; о своем плане жизни; обо мне; о том, что нам делать обоим; как мы можем быть полезны друг для друга. Мне бы хотелось

---

<sup>66</sup> Антон Антонович Прокопович-Антонский.

<sup>67</sup> Николай Иванович Тургенев.

<sup>68</sup> Екатерина Семеновна Тургенева.

знать твои мысли о счастье, какое тебе возможно и какого нам обоим можно искать. Что ты думаешь о моем вояже и что мне советуешь делать, если не поеду? В будущем письме буду писать о том, какое счастье я себе воображаю и какое мне возможно. Но все это похоже на воздушные замки, и тебе должны казаться смешными мои вопросы. Однако же, ты должен на них отвечать. Не правда ли, однако ж, что я о твоём и своём счастье хочу рассуждать, как будто о какой-нибудь философической задаче? И в самом деле, неужели об этой материи надобно рассуждать в горячке и быть всегда мечтателем? Надобно сделать для себя какой-нибудь основательный план, не химерический, но утверждённый на возможности; нам надобно друг другу сообщать свои намерения и чувства, друг другу помогая, сделать что-нибудь хорошее, утвердиться на чем-нибудь постоянно. Итак, напиши мне о себе всё, не поленись, будь моим путеводителем или, по крайней мере, советником. — Что делает Мерзляков? Он забыл меня совершенно: я не получил от него ни строки; не знаю, что он делает и что наше с ним путешествие. Я сам к нему почти ничего не писал, но все писал и в твоём письме, и один раз особенно. Напомни ему обо мне. За что нам друг от друга отдаляться? Признаюсь, мне обидно слышать, что ты с ним редко видишься: кому ж бы друг друга поддерживать и искать, как не вам двум! Что ж значит это отдаление? Не знаю, как это назвать; но мне кажется, что Мерзляков (хотя с ним мне всегда было весело быть вместе, потому что он

человек необыкновенный) не был со мною таков, каким бы я желал его видеть; например, между нами не было искренности; если мы и говорили друг с другом, то вообще всегда говорили о посторонних материях; одним словом, мне всегда казалось, что я мало для него значу, и от этого он мало на меня имеет влияния. Может быть, этому причиною и то, что он не хотел иметь влияния: по крайней мере, я по сию пору еще его не знаю; он никогда мне не открывался, даже в самых безделицах, в своих сочинениях, не только в мыслях и чувствах. Между нами не было ничего общего; я не могу от него ничего требовать; нет ничего тяжелее и скучнее, как насилие и принужденность. Но он не имел причины мне показывать обманчивой наружности; следовательно, я имею все права верить тому, что он мне показывал, и теперь верю; только мне кажется, что все было таково, каким бы должно было быть между нами. Отчего такая слабая связь, такое равнодушие между нами? Нас должно оживлять одно, поддерживать одно! Одним словом, наша жизнь должна быть *cause commune*!<sup>69</sup> А мне кажется, что он меня забыл и всегда искал меня меньше, нежели я его. Или не вздор я написал, и не похоже ли это на прицепки? Скажи ему обо мне полслова и напиши об нем что-нибудь. Нам надобно жить связно и жить друг для друга. Я признаюсь перед вами, любезные друзья, что я сам был что-то не то, но нам надобно быть образователями друг друга. Не забывайте меня; я здесь имею в вас нуж-

---

<sup>69</sup> Делом общим (*фр.*).

ду, может быть, больше, нежели вы во мне. — Но прости, брат, на будущей почте буду писать еще: то есть, получив от тебя ответ. Теперь некогда, мне мешают. — Пришли мне свое путешествие<sup>70</sup>. Я теперь занимаюсь собранием русских поэтов; скажи Мерзлякову, чтоб он прислал мне лучшие свои стихи, не будет ли чего для помещения в это собрание<sup>71</sup>? Неужели искреннее суждение дружбы не будет для тебя приятно? Все мои сочинения увидят не прежде свет, как с пропуском и благословением моих друзей.

А rporos. Пожалуйста, прочти Виландова Агатона. Святая книга! Я начинаю больше уважать немецких авторов. Ради Бога, пришли мне что-нибудь хорошее в немецкой философии: она возвышает душу, делая ее деятельнее; она больше возбуждает энтузиазм. Этому причина, конечно, то, что большая часть немецких философов живут в совершенном уединении, следовательно, больше угадывают людей, видят их издали и больше применяют к себе. Французские все играют роль в большом свете, все подчинены хорошему тону, менее глубокомысленны и меньше имеют живости в чувствах, которые обыкновенно притупляются светскою жизнью. Один Руссо может быть исключением, но Руссо жил всегда в уединении. Итак, пришли мне какого-нибудь немца-энтузиаста. Мне теперь нужен такой помощник, нужна

---

<sup>70</sup> Речь идет о заграничном путешествии Александра Ивановича Тургенева.

<sup>71</sup> Собрание русских стихотворений, в пяти частях, было издано Жуковским в 1810–1811 годах.

философия, которая бы оживила, пробудила мою душу. Если есть Schiller's kleine prosaische Schriften<sup>72</sup>, присылай. Не забудь поздравить от меня батюшку с Новым годом; напиши об нем, об Иване Владимировиче<sup>73</sup>. О последнем буду говорить с тобою много, но не теперь: спешу, мешают, торопят писать! Прости, брат! Что Андрей Сергеевич<sup>74</sup>? Знаешь ли, что мне приходит в голову с ним поближе сойтись. Нам надобно составить отдельное общество. Но после, после!»<sup>75</sup>

Жуковский жаждал пробуждения, его душа рвалась к возвышенному. Романтические настроения искали выхода в деятельности. Однако в какой именно, Василий Андреевич не знал. Хозяйственные работы его «бесили». Постройка дома в Белёве показала его общее неумение обращаться с делами и лишь увеличила его прежние долги.

Среди всех этих бросающихся в глаза метаний и угасающего энтузиазма, на который В. А. Жуковский возлагал большие надежды, нельзя не отметить постоянного искания благоприятных условий для свободной духовной жизни, для нравственного совершенствования, для возможности литературной деятельности; из-под его пера регулярно стали появляться то оригинальные, то переводные лирические стихотворения и, в частности, Дон Кихот Пьера Клариса де Фло-

---

<sup>72</sup> Небольшие прозаические записки в шиллеровском стиле (нем.).

<sup>73</sup> Иван Владимирович Лопухин.

<sup>74</sup> Андрей Сергеевич Кайсаров.

<sup>75</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 432–435.

риана.

Между тем, в личной жизни Жуковского в это время появились и новые обстоятельства, еще более осложнившие ему пребывание в родных краях...

В 1805 году овдовела младшая дочь Марьи Григорьевны Буниной, Екатерина Афанасьевна, жившая до этого времени со своим мужем Андреем Ивановичем Протасовым в Орловской губернии, в усадьбе Муратово. Состояние, расстроенное ее мужем, не дало ей возможности остаться в родовом имении супруга. Чтобы расплатиться с долгами, оставшимися ей в наследство, Е. А. Протасова решила вести скромную жизнь и с этой целью переехала с двумя дочерьми, двенадцатилетней Марьей и десятилетней Александрой, в Белёв. В молодости живая, веселая, насмотревшись в Сибири на тяжелую жизнь своей сестры Авдотьи Афанасьевны Алымовой, которую она еще девицей сопровождала, и испытав немало тяжелого в замужестве, Екатерина Афанасьевна производила впечатление, как тогда говорили, дамы с большим характером и суровым нравом. В. А. Жуковский ее побаивался, и ввиду разницы в возрасте (Екатерина Афанасьевна была старше его на 13 лет) называл ее не сестрой, а «тетушкой», иногда «маменькой», и говорил ей «вы», между тем как она всегда к нему обращалась на «ты».

В. А. Жуковский с воодушевлением вызвался помочь Е. А. Протасовой и предложил себя в качестве учителя ее дочерей. Был составлен обширный план занятий для юных пле-

мянниц, одобренный Екатериной Афанасьевной, после чего Жуковский принялся ежедневно ходить за три версты из Мишенского в Белёв.

Предметом преподавания стали: история, философия, изящная словесность, языки, теология, эстетика и нравственность. Василий Андреевич с наслаждением делился со своими ученицами результатами своей собственной работы над немецкими писателями, которых изучал в это время. Размышляя в ходе уроков над тем, чем был сам непосредственно увлечен, Жуковский невольно увлекал в процесс собственного познания Марью и Александру, да и Екатерину Афанасьевну, которая, по собственному ее признанию, присутствуя на уроках, восполняла пробелы собственного образования. К слову сказать, девочки не всегда понимали своего восторженного преподавателя, не всегда могли почувствовать ту поэзию, которую он невольно вносил в свои уроки. Что говорить о юных душах, когда и сам учитель не до конца мог разобратся в нахлынувших чувствах. И вдруг как откровение Василий Андреевич 9 июля 1805 года делает запись в своем дневнике: «Что со мной происходит? Грусть, волнение в душе, какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание! Можно ли быть влюбленным в ребенка? Но в душе моей сделалась перемена в рассуждении ее! Третий день грустен, уныл. Отчего? Оттого, что она уехала! Ребенок! Но я себе ее представляю в будущем, в то время, когда возвращусь из путешествия, в большем совершен-

стве! Вижу ее не такую, какова она теперь, но такую, какова она будет тогда, и с некоторым нетерпением это себе представляю. Это чувство родилось внутри вдруг – не знаю; но желаю, чтобы оно сохранилось. Я им наполнен, оно заставляет меня мечтать, воображать будущее с некоторым волнением; если оно усилится, то сделает меня лучшим, надежда или желание получить это счастье заставит меня думать о усовершенствовании своего характера; мысль о том, что меня ожидает дома, будет поддерживать и веселить меня во время моего путешествия. Я был бы с нею счастлив, конечно. Она умна, чувствительна, она узнала бы цену семейственного счастья и не захотела бы светской рассеянности. Но может ли это быть? К. А.<sup>76</sup>, если не ошибаюсь, дала мне что-то предчувствовать... Неужели для пустых причин и противоречий гордости К. А. пожертвует моим и даже ее счастьем, потому что она, конечно, была бы со мной счастлива: моя первейшая цель есть наслаждение семейственною жизнью; я бы нашел или стал бы искать средства ею наслаждаться; я бы не стал терять в суетных, ничтожных исканиях драгоценной жизни: литература была бы моим занятием, любовь жены и любовь к ней, самая нежная и спокойная, отдохновением; спокойствие и счастье окружающего меня счастьем, наградою. Родные меня, конечно, бы не отяготили; я бы стал жертвовать им малейшею частию своего времени, и то для рассеяния. Я бы был счастлив дома, с моей женою, с К.

---

<sup>76</sup> Екатерина Афанасьевна Протасова.

А., с моими ближайшими: тогда бы деятельность моя увеличилась, я имел бы тесные связи, я знал бы, что любим прямо и имею право на любовь сию, то есть могу считать ее не милостью, но ответом на мою любовь, последствием моей любви. Мне кажется, что я ревнив; это есть следствие подозрительности в характере, эгоизма, который все к себе относит. Научившись любить жену для нее, не исключительно для себя, отучусь от ревности: любя жену, будешь любить и все ее удовольствия, следовательно, не ограничишь ее одним беспрестанным к себе вниманием, дашь ей свободу, видя, что всегда и всему предпочтешь ее. Все, что на минуту отвлекает ее мысли от тебя, не есть ни холодность, ни измена, но простая, всем естественная, рассеянность, простое желание всем пользоваться. Неужели всякую минуту можно занимать кого-нибудь собою? Итак, должно один раз навсегда увериться, что любим искренно и перед всем предпочтительно, и быть спокойным. Удерживать жену принуждением, когда не мог привязать ее к себе любовью, почитаю безумством. Доверенность, совершенная доверенность и уважение своему другу, вот главные подпоры супружеских связей: излишние требования их ослабляют, потому что делают их тягостными; они производят притворство или, по крайней мере, принуждение. Ревнивый любит только для себя; он хочет всякую минуту занимать собою, всякую минуту быть присутственным, что не натурально и не может не быть тягостным, если сделается принужденным. Ревность причи-

няет то, чего боится. Как же отучить себя от ревности? Я понимаю здесь неосновательную ревность. Та, которая имеет причину и оправдывается поступками любимого человека, есть натуральное следствие любви и неотвратима. Я говорю о той, которая происходит от беспокойного, подозрительного характера, который все увеличивает или представляет в черном виде. Думаю не иным чем отучить, как размышлением, как искоренением самым скорым всякого беспокойного чувства при его рождении, как беспрестанным уверением себя в любви милого человека, неспособного быть вероломным, как беспрестанным желанием и старанием сделаться еще любезнее, доверенностию и откровенностию. Упреки и укоризны отдаляют; присмотр и подозрение тягостны; требования возбуждают принужденность; беспокойство и мнительность бесполезны, когда нет зла, и конечно отвратят его, когда оно должно быть. Люби, чтобы быть любимым, и будь совершенно спокоен, ибо ничто не отвратит несчастья, когда любовь его отвратить не в состоянии. Итак, самое лучшее средство против женской неверности есть любовь и желание нравиться. А лекарство от ревности есть уверение, что она совершенно бесполезна и что мучительна. Надобно быть только уверенным, что все сделал для приобретения любви»<sup>77</sup>.

Марья Андреевна Протасова, чувство любви к которой вызвало у В. А. Жуковского такую бурю страстей, станет

---

<sup>77</sup> Полное собрание сочинений В. А. Жуковского в двенадцати томах. Т. 12. С. 122–124.

вечной его печалью, граничащей с отчаянием. Но об этом несколько позже. А пока дневник Василия Андреевича пополняется мечтами о семейном счастье, религиозными рассуждениями, мыслями о бессмертии души. С этих пор собственные занятия Жуковского идут рассеянное, глаза его частенько наполняются слезами, уроки же в доме Протасовых, бывшие источником воодушевления, причиняют истинное горе, выплескиваемое на страницы дневника: «Что мне вам сказать? Желал бы все так точно сказать, как чувствую, но думаю, что уметь не буду. Я ушел от вас с грустию и, признаюсь, с досадою. Тяжело и не спокойно смотреть на то, что Машенька беспрестанно плачет; и от кого же? От вас, своей матери! Вы ее любите, в этом я не сомневаюсь. Но я не понимаю любви вашей, которая мучит и терзает. Обыкновенно брань за безделицу, потому что Машеньку, с ее милым ангельским нравом, нельзя бранить за что-нибудь важное. Но какая ж брань? Самая тяжелая и чувствительная! Вы хотите ее отучить от слез; сперва отучитесь от брани, сперва приучите себя говорить с нею, как с другом. Мне кажется, ничто не может быть жесточе, как бить человека и велеть ему не чувствовать боли. Ваша брань тем чувствительнее, что она заключается не в грубых, бранных словах, а в тоне голоса, в выражении, в мине; ребенка надобно уверить, что он сделал дурно, заставить его пожелать исправить дурное, а не огорчать бранью, которая только что портит характер, потому что его раздражает, а будучи частою, и действует

на здоровье. Можно ли говорить Машеньке: *ты не хочешь сделать мне удовольствия, ты только дразнишь меня*, тогда, когда она написала криво строку, и тогда, когда вы уверены, что для нее нет ничего святее вашего удовольствия? Что вы делаете в этом случае? Возбуждаете в ребенке ропот против несправедливости и лишаете его надежды угодить вам, следовательно, делаете робким, а ничто так не убивает характера, как робость, которая отнимает у него свободу усовершенствоваться и образоваться, потому что не дает ему действовать или обнаруживаться. Об этом буду говорить еще; напишу к вам особенно. Я не умею говорить языком о том, что чувствую сильно. Вы опытом это извели. Прочту несколько книг о воспитании; сравню то, что в них предписано, с тем, что вы делали, воспитывая детей, и приложу вам свое мнение о том, что осталось делать»<sup>78</sup>. Иногда Василий Андреевич был удручен поступками уже самой любимой им племянницы: «Я сердит на Машу. Но моя досада имеет ли основание, или есть одна только привязка? Не сержусь ли я больше за себя, нежели за то, что она сделала; больше за пренебрежение моих слов, нежели за самый проступок? Но хочется ли мне сердиться? Ее непослушание, может быть, не иное что, как ветренность без всякого намерения; в таком случае не за что сердиться, и можно только ей дать об нем заметить. Если же она захотела не послушаться, если ее непослушание есть каприз и пренебрежение, то, призна-

---

<sup>78</sup> Там же. С. 130–131.

юсь, очень досадно. Конечно, все это не может быть доказательством недостатка дружбы, но показывает дурную сторону характера: своенравие или ветреность. Кого любишь, того и слушаешь во всем с удовольствием, хотя не всегда бываешь одинаково расположен. Но я не ожидал найти в Маше своенравия или такой ветрености. Не хотеть пожертвовать таким вздорным удовольствием. Найти больше удовольствия в собаке, нежели в исполнении просьбы того человека, которого любишь! Это мне досадно, и не потому, чтобы мне хотелось видеть ее мне покорною, а потому, что это показывает или ее невнимание ко мне, или ее своенравность, или ветреность. Хотя она ребенок, но мне бы чрезвычайно было приятно исполнять всякое ее желание; того же бы хотел и от нее! Говорил ли с нею? В последний раз! Посмотрим, как примет. *Non, Marie, je ne veux pas être votre tyran, je ne veux pas que vous exécutiez aveuglement ce que je dis, car je n'exige de vous rien qui soit déraisonnable, mais je suis votre ami, je vous aime audessus de tout au monde, je voudrais que vous vous souveniez toujours de ce que je vous dis, que vous aimiez á me faire plaisir même dans les petites choses, et c'est précisément parce que je suis sûr que chacune de vos volontés, quelle qu'elle soit, sera sacrée pour moi et que je sentirai toujours un grand plaisir dans son exécution. C'est ce plaisir là qui est une marque certaine d'une vraie amitié*<sup>79</sup>. Надобно, чтобы друж-

---

<sup>79</sup> Нет, Мария, я не хочу быть вашим тираном, я не хочу, чтобы вы выполняли в ослеплении то, что я говорю, так как я не требую от вас ничего, что было

ба видна была во всем, и в безделках, потому что в безделках можно ежедневно ее доказывать, а важные случаи редки. Кто любит, для того все свято и важно. Итак, в последний раз буду говорить с Машею. Не должно быть похитителем чужого права, не должно никого обременять своею любовью. Может наскучить. А для меня всего тяжелее отягощать собою других, особливо тех, кого стремишься любить всею душою. Дружба требует взаимности; я требую от тебя того, что сам всегда готов для тебя сделать. Всякое, самое бездельное невнимание отменно больно. Я разумею невнимание с намерением. Но Боже меня избави от желания видеть друзей моих со мною осторожными. Притворное внимание несносно и мучительно, оно не может быть вместе с дружбою, которая всегда и внимательна, и непринужденна. Ты будешь это читать, моя милая Маша. Если я ошибся, если ты вчера сделала одну только ветренность, а не поступила так по своенравию и капризу, чего я очень желаю, то, пожалуйста, не забудь, что первое удовольствие должно состоять в доставлении удовольствия своим друзьям; что забывать всякую минуту просьбы своих друзей или, что еще хуже, пренебрегать ими или жертвовать ими самому пустому

---

бы безрассудным, но я ваш друг, я вас люблю больше всего на свете, и я хотел бы, чтобы вы помнили всегда о том, что я вам говорю, что вы любили бы мне доставлять удовольствие даже в пустяках, и все это потому, что я уверен, что каждое из ваших желаний, какое бы оно ни было, будет высшим для меня и что я буду чувствовать всегда большое удовольствие в его выполнении. Именно это удовольствие и есть несомненная мера настоящей дружбы (*фр.*).

удовольствию есть совершенно непростительная ветреность. Твой поступок вчерашний, как он ни безделен, очень меня тронул; мне вчера и нынешнее утро было досадно на тебя и вместе грустно. Как можно в ту самую минуту, когда я тебе напомнил о твоём обещании, опять забыть об нём или (что для меня очень больно) дать мне почувствовать, что ты не хочешь об нём помнить и не уважаешь мою просьбу! Не значит ли это другими словами, что ты не хочешь, чтобы я чего-нибудь от тебя требовал? Носить собаку на руках не грех; но когда тебя просят, чтобы ты ее не носила, когда тебе сказывают резон, то как можно для удовольствия нянчиться с Розкою, делать неудовольствие тому человеку, который тебя так любит! Это непростительная ветреность! Что ж, если это не ветреность, а каприз и упрямство? Я этого не желаю; но уверен, что ты мне прямо откроешь свое чувство. Твоя искренность дороже мне всего. Я имею право от тебя требовать дружбы и всех доказательств дружбы, потому что сам люблю тебя больше всего и от всей души. Может быть, ты и не заметила моей досады и очень удивишься, услышав мою претензию. Боюсь, чтобы я не показался тебе слишком взыскательным; но я уверен, что ты будешь со мною искреннею и что, конечно, во всем со мною согласишься. Я не желаю видеть тебя ни малодушною, ни ветреною, ни своенравною; всякий твой недостаток удивляет меня потому, что я ценю тебя отменно много. Очень желаю, чтобы ты мне казалась точно такою, какова ты есть в самом деле, и чтобы я в тебе

не обманулся. Обманываться очень больно»<sup>80</sup>.

Общее состояние духа, материальные затруднения и полная неопределенность желаний приводили Жуковского к депрессии. В такие минуты Василий Андреевич возвращался к мысли о службе. В декабре 1806 года он пишет «любезным друзьям», А. И. Тургеневу и Д. Н. Блудову: «...Я приехал было в Москву с тем, чтобы целый год посвятить порядочному учению, пройти историю и философию, и потом уже, имея относительные знания, приняться за что-нибудь важное и полезное; но теперешние обстоятельства, кажется, не позволят заняться науками. Я не знаю, на что решиться, и желал бы знать ваше мнение об этом, братцы. Теперь всякий обязан идти в службу, и я чувствую свою обязанность: но служить надобно для того, чтобы принести пользу. Вы знаете мои способности; скажите, что мне делать? А я не желал бы остаться в бездействии тогда, когда всякий должен действовать, но желал бы действовать так, чтобы принести пользу. Ожидаю вашего ответа, по крайней мере, твоего, Тургенев: ты не так ленив, как Блудов, в котором одна страсть<sup>81</sup> поглотила все другие способности, склонности и пр. и пр. <...> Отвечай мне скорее: что я должен делать и что могу сделать? Об этом ты можешь сказать что-нибудь решительное. Если

---

<sup>80</sup> Полное собрание сочинений В. А. Жуковского в двенадцати томах. Т. 12. С. 136–137.

<sup>81</sup> Увлечение княжною Анной Андреевной Щербатовой, на которой Д. Н. Блудов позднее женился.

надобно будет идти, то нельзя ли будет получить такое место, где бы я мог употребить в большую пользу свои способности, а именно, нельзя ли будет найти случая втереться в штат какого-нибудь из главнокомандующих областных для письменных дел, и не можешь ли ты для меня этого сделать? Я стал бы работать и душой, и телом. Впрочем, и во фронт идти не откажусь, если нужно будет идти, хотя за способности свои в этом случае не отвечаю. Подумай за меня хорошенько, любезный друг; сообщи мне свои мысли немедленно. Я, между тем, буду с другими советоваться, но ни на что решительное, без твоего мнения, не отважусь. Теперь всякий желающий может быть хотя несколько полезен, но чем больше, тем лучше; итак, надобно искать места по способностям. Похлопочи обо мне: в этом случае полагаюсь на тебя совершенно...»<sup>82</sup>. 17 января 1807 года в письме А. И. Тургеневу снова читаем: «...Что же касается до последнего твоего письма и до службы, то я, право, не знаю, на что решиться. Как мне приехать в Петербург, не зная, зачем я приеду? Для чего ты не написал, какого рода служба меня ожидает? Нужны выгоды. А не очень буду доволен, если меня определят куда-нибудь, на первую открывшуюся должность. Сверх того, чем меньше зависимость, тем было бы лучше. Нет ли у вас, например, какого-нибудь библиотечарского места с хорошим жалованьем, и вообще, я бы желал места по части просвещения. Ты, право, не очень должен спешить: я теперь

---

<sup>82</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 436–438.

занят своими лекциями, следовательно, ничего не потеряю, если и через год войду в службу. Прости, любезный друг, буду ожидать твоего письма с нетерпением. <...> Мне пришла идея! Что, если бы меня сделать каким-нибудь директором училища, и именно в Москве? Я, может бы, мог быть и полезен. Но об этом еще надобно подумать и узнать, что за должность. По-настоящему, если бы нашлась хорошая должность в Москве, с хорошим жалованьем, то мне бы выгоднее остаться в Москве; мои родные все здесь и, сверх того, моя матушка могла бы жить со мною...»<sup>83</sup>.

По просьбе московских друзей Жуковского к начинающему писателю проявил сочувствие Н. М. Карамзин и предложил ему редактировать журнал «Вестник Европы», от которого в то время решил отказаться М. Т. Каченовский. В ноябре 1807 года, подготовив несколько статей для журнала, Василий Андреевич переехал в Москву. Елизавета Дементьевна, видя увлечение сына новым делом, писала: «*Вестник* очень меня беспокоит в рассуждении твоего здоровья. Я боюсь, что ты будешь слишком прилежен. Береги себя»<sup>84</sup>.

С приходом В. А. Жуковского «Вестник Европы» заметно выиграл в художественном отношении: выбор поэтических произведений становится удачнее, появляются иллюстрации знаменитых картин, статьи общего характера поднимают нравственные и эстетические проблемы времени.

---

<sup>83</sup> Там же. С. 438–439.

<sup>84</sup> Там же. С. XX–XXI.

Что касается общественно-политических вопросов, то журнал занимается ими все меньше. Если в начале своей редакторской деятельности Жуковский еще просит у А. И. Тургенева заграничных новостей из Тильзита, то в 1809 году пишет своему другу в иных выражениях: «Я уже отпел панихиду политике и нимало не опечален ее кончиною. Правда, она отымет у моего журнала несколько подписчиков, но так тому и быть. Это ничуть не умалило моего рвения; напротив, чувствую желание сделать журнал мой из дурного, или много-много посредственного, хорошим»<sup>85</sup>. И что-то Василию Андреевичу, безусловно, удалось. Он сумел задать журналу свой умеренный тон, который соответствовал распространенному вкусу читателей. Успех имели и поэтические произведения редактора. Однако все, что выходило за пределы литературного образования и творческих способностей, Жуковскому давалось с трудом. Он так и не приобрел умения вступать в деловые отношения с людьми, то есть заниматься повседневной рутинной хозяйственной деятельностью. В «Вестнике Европы» стали обостряться отношения и нарастать проблемы, что подвигло Василия Андреевича к мысли об уходе из журнала. Осенью 1809 года Жуковский перебирается в Мишенское и лишь формально числится в редакции. Временами, очень ненадолго, он еще приезжает в Москву, но большей частью просто присылает для опубликования свои стихи. В 1810 году в «Вестник Европы» снова возвра-

---

<sup>85</sup> Там же. XXI.

щается М. Т. Каченовский, что дает возможность Василию Андреевичу окончательно выйти из редакции, что и происходит в 1811 году.

Уже 64-летним стариком Жуковский в письме к декабристу Александру Федоровичу фон дер Бриггену назовет себя «жалким издателем “Вестника Европы”»<sup>86</sup>. О характере жизни Василия Андреевича в период его разочарований в возможности преобразовать вкус читающей публики лучше всего выясняется из письма, отправленного из Белёва А. И. Тургеневу 7 ноября 1810 года: «Письмо твое от 31 октября получил, мой милый Миллер<sup>87</sup>; благодарю тебя за присылку книг, которых еще у меня нет, и еще раз повторяю просьбу мою доставить мне все остальные, а чтобы узнать, какие они, прочитай все прежние письма и отложи свою обыкновенную, досадную беспечность, которая одна мешает мне в полноте восхищаться тобою.

Ты спрашиваешь, на что мне нужен Герен и в каком отношении? Я уже писал к тебе об этом в моем последнем несколько сердитом письме, но написал коротко. Теперь пишу попросторнее. Но в предисловии объясню, для чего не писал к тебе так долго, и отчего могут и впредь случиться некоторые промежутки в нашей переписке. Причиною этому Миллер, или, лучше сказать, одно из его прекрас-

---

<sup>86</sup> Там же. С. 556.

<sup>87</sup> Так стал называть Жуковский А. И. Тургенева, увлекшись чтением переписки Карла Бонстеттена и Иоганна Миллера.

нейших правил: Constantiam et gravitatem werden Sie nicht eher erlangen, bis alle Ihre Stunden wie im Kloster regelmässig ausgetheilt sind<sup>88</sup>. Этому правилу стараюсь последовать со всею точностию трудолюбивого немца. Часы разделены. Для каждого особенное непременно занятие. Следовательно, есть часы и для писем. Обыкновенно ввечеру, накануне почты, пишу письма, и таких эпох у меня две в неделе. Но я должен часто писать в типографию; два раза в неделю непременно должен отправить корректуру моего собрания стихотворцев, которого еще ни один том не отпечатан; первый готов, но еще нет предисловия (следовательно, ты и не мог получить его); наконец, случаются и другие письма. Все эти дела положено исправлять у меня в понедельник и пятницу, по вечерам, отчего и случается иногда совершенная невозможность тебе писать; а в этом порядке непременно хочу быть педантом: в противоположном случае, что ни делай, все будет неосновательно. Прибавь еще к тому и то, что иногда в час, определенный для переписки, в голове моей сидит геморрой, от которого душа как мертвая, а я хочу угощать тебя живою душою; хочу, чтобы рука писала от сердца. Но как писать, когда голова в споре с сердцем?

Итак, поговорим о Герене и братии. Entre nous soit dit<sup>89</sup>, я совершенный невежда в истории. Неправда ли, что в этом от-

---

<sup>88</sup> Постоянство и твердость не могут быть достигнуты до тех пор, пока все ваше время не будет распределено так же правильно, как в монастыре (нем.).

<sup>89</sup> Между нами говоря (лат.).

ношении наша переписка несколько далека от Миллеровой с Бонстеттенем? Он в двадцать лет предвидел политические перемены мира. Но я хочу получить об истории хорошее понятие; не быть в ней ученым, ибо я не располагаюсь писать историю, но приобрести философический взгляд на происшествия в связи. История из всех наук самая важнейшая; важнее философии, ибо в ней заключена лучшая философия, то есть практическая, следовательно, полезная. Для литератора и поэта история необходимее всякой другой науки: она возвышает душу, расширяет понятия и предохраняет от излишней мечтательности, обращая ум на существенное. Я хочу прочесть всех классиков-историков; но для того, чтобы извлечь из них всю возможную пользу и чтобы идея об истории была не смутная, а ясная, хочу предварительно составить себе общий план всех происшествий в связи. Для этого и начинаю Гаттерером и Гереном. Вот моя метода, несколько трудная и продолжительная, но для упрямой памяти моей необходимая. Прочитать статью в Гаттерере, имея перед глазами Габлеровы таблицы, откладывая книгу и потом составляя несколько карт (*á la Schlötzer fils*<sup>90</sup>) того времени, о котором читал, на картах в хронологическом и вместе синхронистическом порядке изображаю главнейшие происшествия, это оставляет в голове чрезвычайно ясную идею о переменах и их последствиях. Кончив этот труд, пишу из головы общее обозрение происшествий прочитанного периода. Так

---

<sup>90</sup> А-ля Шлёцер сын (*фр.*).

составится у меня целый курс всеобщей истории. Подробностей знать не буду; но теперь они мне еще и не нужны. Я хочу иметь один план, с которым можно было бы не заблудиться посреди бесчисленных подробностей. Составив этот план, мне уже будет весьма легко после заниматься чтением классиков, из которых ни один не написал обо всем, а избрал для себя какую-нибудь важнейшую часть. Эти важнейшие части будут мне известны подробно; а связи между ними сохранит мое предварительное чтение Гаттерера и Герена. Русская история, однако, будет другого рода занятием. Тут уже нечего думать о классиках, а надобно добираться самому до источников. Но и для русской истории, прежде нежели погрузюсь в океан летописей, намерен я составить такой же точно план, для которого мне нужна будет какая-нибудь краткая, но хотя несколько сносная русская историйка. Не знаешь ли чего-нибудь в этом роде? “Владимир” будет моим фаросом; но чтобы плыть прямо и безопасно при свете этого фароса, надобно научиться искусству мореплавания. Вот это я теперь и делаю. Ах, брат и друг, сколько погибло времени! Вся моя прошедшая жизнь покрыта каким-то туманом *недеятельности душевной*, который ничего не дает мне различить в ней. А теперь, друг мой, эта самая деятельность служит мне лекарством от того, что было прежде ей помехою. Если романтическая любовь может спасти душу от порчи, зато она уничтожает в ней и деятельность, привлекая ее к одному предмету, который удаляет ее от всех других. Этот

один убийственный предмет, как царь, сидел в душе моей по сие время. Но теперешняя моя деятельность, наполнив душу мою (или, лучше сказать, *начиная* наполнять), избавляет ее от вредного постояльца. Если бы он ушел сам, не уступивши места своего другому, то душа могла бы угаснуть; но теперь она только переменяла свое направление и, признаться, к совершенной своей выгоде. Эту выгоду я очень чувствую, и ты скоро, может быть, получишь от меня *Послание о деятельности*, о благодетельности этого святого гения, которому посвящаю жизнь мою, которым будет храниться все мое счастье. Не забудь, однако, что этот гений всегда рука в руку с гением дружбы. Пускай же они будут моими ангелами-хранителями. В эту минуту желал бы иметь тебя перед собою, чтобы подать тебе руку, прижать тебя к сердцу, не сказать, может быть, ни слова, но зато все выразить своим молчанием. Не думай, однако, чтобы моя мысль о действии любви была *общеею* мыслию, а не моею; нет, она справедлива и неоспорима, но только тогда, когда будешь предполагать некоторые особые обстоятельства; она справедлива в отношении ко мне. Надобно сообразить мои обстоятельства: воспитание, семейственные связи и двух тех, которые так много и так мало на меня действовали<sup>91</sup>. Об этом хорошо говорить на словах, и я надеюсь говорить об этом с тобою в каком-нибудь московском уголку, в котором мы будем двое вспоми-

---

<sup>91</sup> С определенной долей уверенности можно предположить, что Жуковский имеет в виду Андрея Ивановича и Ивана Петровича Тургеневых.

нать о прошедшем и располагать будущее, возобновляя душевный обет навсегда, навсегда быть добрыми спутниками в счастья и несчастья. Так, брат, – и в несчастья! Видя, как все рушится, иногда приходит мне в голову мысль, что, может быть, впереди готовит для нас судьба что-нибудь ужасное. Я часто хотел писать к тебе об этом. Милый друг! Никогда не теряй из головы мысли, что нам надобно помогать, помогать друг другу переносить бурю; что несчастье должно соединить нас, что нам непременно должно быть вместе, когда начнется это испытание. Какое оно – не знаю. Но подумай о том, что были многие эмигранты, рассыпанные по всему свету революцией; взгляни на то, что происходит около нас, и вообрази возможности. И эти-то возможные времена должны соединить нас, если они настанут. Для двух несчастье не ужасно; двое могут иметь одну общую непоколебимую твердость, которой каждый из них *один*, может быть, и иметь не способен; в глазах и в руке друга – надежда и сила. Признаюсь тебе, иногда мысль о будущем приводит меня в уныние. Что, если предпринятая мною деятельность будет бесплодна? Но в этом случае надобно забывать будущее не верное, а только возможное; и я всегда говорю себе: настоящая минута труда уже сама по себе есть плод прекрасный. Так, милый друг, деятельность и предмет ее: польза – вот что меня теперь одушевляет. Первая же моя недеятельность происходила, может быть, и от мысли, что я не могу быть деятельным. Теперь начинаю верить противоположному, ибо я на-

хожу удовольствие даже и в том, чтобы учить наизусть примеры из латинского синтаксиса, воображая, что со временем буду читать Вергилия и Тацита. Теперь главные занятия мои составляют: история всеобщая, как приготовление к русской и к классикам, и языки, пока латинский, а через несколько времени и греческий. В «Вестник»<sup>92</sup> буду посылать переводы, ибо это необходимо для кармана. Между тем, чтобы не раззнакомиться с Музами, буду делать минутные набегии на Парнасскую область с тем, однако, чтобы со временем занять в ней выгодное место, поближе к храму Славы. Три года будут посвящены труду приготовительному, необходимому, тяжелому, но улаждаемому высокою мыслию быть прямо тем, что должно. Авторство почитаю службою Отечеству, в которой надобно быть или отличным, или презренным: промежуток нет. Но с теми сведениями, которые имею теперь, нельзя надеяться достигнуть до первого. Итак, лучше поздно, нежели никогда. Тебе, как доброму другу моему, надобно желать одного: чтобы обстоятельства, по крайней мере, в эти приготовительные годы, были благоприятны мне и не столкнули меня с дороги. А труд, который был для меня прежде тяжел, становился для меня любезен час от часу более. Я уверен теперь, что один тот только почитает труд тяжким, кто не знает его; но тот именно его и любит, кто наиболее обременен им. Вот мысль Горация, которая привела меня в восхищение, ибо теперь с отменною живостию чувствую исти-

---

<sup>92</sup> В «Вестник Европы».

ну, в ней заключенную:

Et ni

Posces ante diem librum cum lumine, si non  
Intendas animum studiis et rebus honestis,  
Invidia vel amore vigil torquebere<sup>93</sup>.

Не подумай, однако, чтобы я хотел хвастать знанием своим латинского языка. Я прочитал это в переводе, а для тебя, как для латинуса, выписываю в оригинале.

Переписанных моих сочинений нельзя тебе скоро иметь: милая переписчица<sup>94</sup> улетела в Москву пленять все, что ей ни встретится, следовательно, и переписывать ей некогда. А переписчика здесь нет. Терпение, милый друг. Что-нибудь подоспеет новое, тогда вдруг все получишь. Между тем, мое Послание очень вертится у меня в голове, и я бы давно написал его, если бы не был рабом моего немецкого порядка, и восхищению стихотворному назначен у меня час особый, свой. Но это восхищение как-то упрямо и не всегда в положенное время изволит ко мне жаловать. Между прочим скажу тебе, чтобы поджечь твое любопытство, что у меня почти готова еще баллада, которой главное действующее лицо – диавол, которая вдвое длиннее Людмилы и гораздо ее луч-

---

<sup>93</sup> Если ты до рассвета дневного, с возженной свечою, не будешь ощущать потребности в книге; если не будешь упражнять душу умственными и честными трудами, то в бессоннице одолеет тебя зависть или любовный жар (*лат.*).

<sup>94</sup> Александра Андреевна Протасова.

ше<sup>95</sup>. И этот диавол посвящен будет милой переписчице, которая сама некоторым образом по своей обольстительности — диавол.

Но пора кончать. Надобно еще написать письмо к Блудову, который зовет, и напрасно, к сожалению моему, зовет меня в Москву. Я буду в Москве не прежде, как в конце декабря, и то на короткое время, и ты непременно в ней быть должен. В противном случае, милый мой Миллер, мы можем опять не увидеться, а это будет для меня очень грустно. Постарайся расположить дела свои так, чтобы тебе непременно приехать в Москву около Нового года.

В заключение письма две просьбы: первая, непременно увидеться с Севериным<sup>96</sup> и попросить его для меня самым усердным образом об ответе на мое письмо. Он жалуется на мое молчание, а сам пренебрегает отвечать мне, когда бы надобно было тотчас, без всякого замедления, отвечать; ибо я, по-прежнему в моей с ним приятельской связи, просил его об услуге, в точном уверении, что ему приятно будет для меня ее сделать. Его молчание для меня непостижимо и, признаюсь, несколько обидно. Можно ли таким образом переменитьсь? Покажи ему эти строки и попроси его, чтобы он объяснил мне, что я должен подумать о его молчании? Антонский советует мне ехать в Петербург и пользоваться слу-

---

<sup>95</sup> Двенадцать спящих дев.

<sup>96</sup> Дмитрий Петрович Северин.

чаем нашего министра юстиции<sup>97</sup>. Нет, я не поеду; не сделаю той глупости, которую вздумал было в начале последнего года сделать. Все уверяет меня, что наш министр и для своих приятелей министр. Он не имеет того расположения в дружбе, чтобы воспользоваться силою для добра тех, которых он ласкал и называл своими во время оно, и сделать это, избавив от жестокого труда или, лучше сказать, от мучения, выкланивать себе выгоду и предупредив их своим добрым желанием и приноровив свое об них попечение к их собственным желаниям и способностям. Он не Муравьев<sup>98</sup>, который два раза, не зная меня совсем в лицо, присылал у меня спрашивать, не может ли он мне быть полезен, и которого я не могу вспомнить без благодарного чувства... Но basta!

Зная теперь, как мне время дорого, ты должен без всякого отлагательства прислать мне латинскую грамматику и греческую. И ты много, много одолжил бы мне, если бы снабдил меня и Эйхгорном<sup>99</sup> и *Histoire de la diplomatie*<sup>100</sup>. На книги твои позволяю себе иметь полное право, и ты должен снабжать меня всеми, какие имеешь. Покупать их не могу, ибо я бедняк, а тебе должно быть приятно помогать мне в нужде. Это же так легко. Только не медли!»<sup>101</sup>

---

<sup>97</sup> Ивана Ивановича Дмитриева.

<sup>98</sup> Михаил Никитич Муравьев.

<sup>99</sup> Речь идет об исторических сочинениях Иоганна Готфрида Эйхгорна.

<sup>100</sup> История дипломатии (*фр.*).

<sup>101</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 440–442.

Два довоенных года В. А. Жуковский прожил в особом подъеме духа; работа у него кипит, и даже любовь отступила перед трудолюбием; растет уверенность в своих силах. Характерно в этом отношении для Василия Андреевича, что когда в начале 1811 года С. С. Уваров, в то время попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, предложил ему должность профессора Педагогического института, Жуковский ему ответил: «...Предложение это почитаю отменно для себя выгодным, но также почитаю необходимым объяснить с вами искренно; может быть, искренность моя покажется вам странной – так и быть. Я совершенно не готов к тому званию, на которое вы меня определяете; мои сведения всеобщие весьма еще несовершенны и не приведены в порядок. Для того, чтобы их несколько усовершенствовать, нужна свобода; занявшись должностью, для меня важною и по моей неготовности весьма для меня трудною, я не буду иметь возможности использовать это намерение: одно исключительное занятие отвлечет меня от других необходимых для меня занятий, которых я ни за что не хотел бы оставить...

Хотите ли мне сделать истинное добро? Дайте мне время, нужное для приговорительного, ученического труда и, между тем, позвольте мне иметь надежду, что я, по совершении своего курса, на который, по крайней мере, употребить надобно года два, найду в вас первое прибежище и что вы тогда не откажетесь доставить мне средство употребить

способности мои на общую пользу. Эта надежда меня совершенно успокоит: без всякой заботы о будущем посвящу себя упражнению и стану заранее наслаждаться мыслию, что выгодами жизни обязан буду тем людям, к которым прилеплен чувствами дружбы. Такая мысль и самый труд сделает для меня сладким. Напротив, если теперь возьму на себя такую должность, к которой не готов, то она будет для меня только источником самых неприятных ощущений: беспрестанно буду воображать себя не на своем месте, и с выгодами состояния не получу того, что делает всякое состояние приятным, то есть спокойствия внутреннего и довольства самим собою. Одним словом, прошу от вас только одной надежды, то есть позвольте мне быть уверенным, что я в свое время найду в вас нужную мне помощь. Более ничего теперь не требую и не имею права требовать.

Желал бы, если бы это было возможно, быть теперь просто привязанным к С.-Петербургскому университету, не получая никакого жалованья, а только при нем считаться. Также весьма бы желал знать заранее, к какой особенной должности надлежит мне особенно себя приготовить. Я говорил с вами искренно, ибо говорил не с таким человеком, от которого ожидаю только выгод, но с человеком, к которому хочу быть привязан чувством дружбы без всяких посторонних видов. Хотя несколько приятных часов, проведенных мною с вами в Москве, и не дают мне на это полного права, но ва-

ше давнишнее знакомство с Тургеневым<sup>102</sup> и меня сделало вашим давним знакомцем...»<sup>103</sup>.

Письмо датировано 4 мая 1811 годом. Через 8 дней, 13 мая, не станет Марьи Григорьевны Буниной и вскоре вслед на ней Елизаветы Дементьевны. Потеря двух своих матерей было настоящим горем для Жуковского; от хорошего настроения не останется и следа. Только к концу года Василий Андреевич вернет себе чувство бодрости и удовлетворенности от дел.

Между тем Протасовы переехали в Муратово, где Екатерина Афанасьевна начала строиться. Жуковский поселился в это время по соседству в деревне Холм в своем небольшом имении, которое М. Г. Бунина, по кончине супруга своего А. И. Бунина, по его завещанию, закрепила за ним, и продолжил принимать самое непосредственное участие в жизни сестры и ее дочерей.

Так шло время до лета 1812 года, когда военная служба превратилась из сословной традиции в патриотическое дело. В. А. Жуковский не мог не отдаться общему настроению, вызванному вторжением неприятеля в пределы Отечества. Еще в 1806 году Василий Андреевич собирался в «милицию», был у него и детский не совсем удачный опыт общения к военному делу: в 1795 году 12-летний «Васенька» был доставлен майором Дмитрием Гавриловичем Пост-

---

<sup>102</sup> Александр Иванович Тургенев.

<sup>103</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 519–520.

никовым в Кексгольм в Нарвский пехотный полк (по обычаю того времени мальчик со дня рождения был записан по месту бывшей службы отца), где прожил около 4 месяцев и, обстриженный «вгладь», вернулся домой. Судя по его письмам из Кексгольма к матери, жизнь его в крепости вовсе не была приучением к фрунтовой жизни: «Милостивая государыня, матушка Елизавета Дементьевна! Я весьма рад, что узнал, что вы, слава Богу, здоровы; что ж касается до меня, то и я также, по его милости, здоров и весел. Здесь я со многими офицерами свел знакомство и много обязан их ласками. Всякую субботу я смотрю развод, за которым следую в крепость. В прошедшую субботу, шедши таким образом за разводом, на подъемном мосту ветром сорвало с меня шляпу и снесло прямо в воду, потому что крепость окружена водою, однако, по дружбе одного из офицеров, ее достали. Еще скажу вам, что я перевожу с немецкого и учусь ружьем. Впрочем, прося вашего родительского благословения и целуя ваши ручки, остаюсь навсегда ваш послушный сын Васенька. 20 ноября 1795 года». «Милостивая государыня, матушка Елизавета Дементьевна! Имею честь вас поздравить с праздником и желаю, чтоб вы оный провели весело и здорово. О себе честь имею донести, что я, слава Богу, здоров. Недавно у нас был граф Суворов, которого встречали пушечною пальбой со всех бастионов крепости. Сегодня у нас маскарад, и я также пойду, ежели позволит Дмитрий Гаврилович<sup>104</sup>. Впро-

---

<sup>104</sup> Дмитрий Гаврилович Постников.

чем, желая всякого благополучия, остаюсь ваш послушный сын Васенька. 1795 года, декабря 20 дня»<sup>105</sup>.

Как бы то ни было, 12 августа 1812 года Жуковский вступил в ополчение, о котором впоследствии отзовется весьма скептически. «Мог ли бы ты вообразить, – писал Василий Андреевич А. И. Тургеневу 9 апреля 1813 года, – чтобы я когда-нибудь очутился во фрунте и в сражении? Происшествия нынешнего времени делают все возможным. Впрочем, не воображай, чтобы я сколько-нибудь был знакомее прежнего с военным ремеслом. Вся моя военная карьера состоит в том, что я прошел от Москвы до Можайска пешком; простоял с толпою русских крестоносцев в кустах в продолжение Бородинского дела, слышал свист нескольких ядер и канонаду дьявольскую; потом, наскучив биваками, перешел в главную квартиру, с которою по трупам завоевателей добрался до Вильны, где занемог, взял отпуск бессрочный и теперь остаюсь в нерешимости: ехать ли назад, или остаться? Мне дали чин<sup>106</sup>, и наверное обещали Анну на шею, если я пробуду еще месяц. Но я предпочел этому возвращение, ибо записался под знамена не для чина, не для креста и не по выбору<sup>107</sup> собственному, а потому, что в это время всякому

---

<sup>105</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 384.

<sup>106</sup> Штабс-капитана.

<sup>107</sup> В. А. Жуковский делает собственноручно примечание: «Это не значит, однако, чтобы я был выбран от дворянства. У нас в Орле не было милиции; я сам записался в московскую».

должно было быть военным, даже и не имея охоты; а так как теперь война не внутри, а вне России, то почитаю себя вправе сойти с этой дороги, которая мне противна и на которую могли меня бросить одни только обстоятельства»<sup>108</sup>.

Болезнь, о которой упоминает в письме Жуковский, была жестокой горячкой, заставившей его 13 дней вылежать в постели. В это время он уже не служил во фрунте, но, вследствие ходатайства М. С. Кайсарова, был переведен в походную канцелярию.

Ко времени пребывания Жуковского в ополчении относится его знаменитое стихотворение «Певец в стане русских воинов», вполне отвечающее общему настроению после сдачи Москвы и перед сражением при Тарутине. Императрица Мария Федоровна прочитала «Певца», поднесенного ей И. И. Дмитриевым, и пожелала иметь экземпляр, переписанный рукой автора. Исполняя волю государыни, Василий Андреевич осмелился к желаемому списку присоединить свое «Послание к императрице»:

Мой слабый дар царица одобряет;  
Владычица в сиянии венца  
С улыбкой слух от гимнов преклоняет  
К гармонии безвестного певца...  
Могу ль желать славнейшие награды?  
Когда сей враг к нам брань и гибель нес,  
И русские воспламенялись грады,

<sup>108</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 450–451.

Я с трепетом зрел ангела небес,  
В сей страшной мгле открывшего пучину  
Надменному успехом исполину;  
Я старца зрел, избранного царем;  
Я зрел славян, летящих за вождем  
На огонь и меч, и в каждом взоре  
И гением мне было восхищенье, —  
И я предрек губителю паденье,  
И все сбылось, – губитель гордый пал!..  
Но, ах, почто мне жребий ниспослал  
Столь бедный дар?.. Внимаемый царицей,  
Отважно б я на лире возгремел,  
Как месть и гром несущий наш орел  
Ударил вслед за робкою станицей  
Постигнутых смятением врагов,  
Как под его обширными крылами  
Спасенные народы от оков  
С возникшими из низости царями  
Воздвигнули свободы знамена;  
Или, забыв победные перуны,  
Твоей хвалой воспламенил бы струны;  
Ах, сей хвалой душа моя полна!  
И где предмет славнее для поэта?  
Царица, мать, супруга, дочь царей,  
Краса цариц, веселие полсвета...  
О, кто найдет язык, приличный ей?  
Почто лишен я силы вдохновенья?  
Тогда б дерзнул я лирою моей  
Тебя воспеть, в красе благотворенья

Сидящую без царского венца  
В кругу сих дев, питомцев Провиденья.  
Прелестный вид! – их чистые сердца  
Без робости открыты пред тобою;  
Тебя хотят младенческой игрою  
И резвостью невинной утешать;  
Царицы нет, – они ласкают мать;  
Об ней их мысль, об ней их разговоры,  
Об ней одной мольбы их пред Творцом,  
Одну ее с Небесным Божеством  
При алтаре поют их сладки хоры.  
Или мечтой стремясь тебе во след,  
Дерзнул бы я вступить в сей дом спасенья,  
Туда, где ты, как ангел утешенья,  
Льешь сладкую отраду в чашу бед.  
О, кто в сей храм войдет без умиленья?  
Как божество невидимое, ты  
Там колыбель забвенной сироты  
Спасительной рукою оградила;  
В час бытия отверзлась им могила —  
Ты приговор судьбы перервала,  
И в образе небесные надежды  
Другую жизнь отверженным дала.  
Едва на мир открыли слабы вежды —  
Уж с Творческим слиянный образ твой  
В младенческих сердцах запечатлели;  
Без трепета от тихой колыбели  
Они идут в путь жизни за тобой.  
И в бурю бед ты мощный им хранитель.

Вотще окрест их сени брань кипит, —  
На их главы ты свой простерла щит,  
И задрожал свирепый истребитель  
Пред мирною невинностью детей,  
И не дерзнул пожар внести злодей  
В священную сирот твоих обитель.  
И днесь, когда отвсюду славы гром,  
Когда, сражен полуночным орлом,  
Бежит в стыде народов притеснитель, —  
О, сколь предмет высокий для певца!  
Владыки мать в величестве царицы  
И с ней народ, молящие Творца,  
Да под щитом всеильные десницы  
Даст мир земле полсвета властелин.  
Так, к небесам дойдут твои молитвы;  
Придет, придет, свершив за правду битвы,  
Защитник царств, любовь царей, твой сын,  
С венчанными победою полками.  
О, славный день, о, радостный возврат!  
Уже я зрю священный Петроград,  
Встречающий спасителя громами;  
Грядет, грядет, предшествуем орлами,  
Пленяющий величеством, красотой!  
И близ него наш старец, вождь судьбины,  
И им во след вождей блестящий строй  
И грозные славянские дружины.  
И ты спешишь с супругою младой,  
В кругу детей, во сретенье желанных...  
Блаженный час! в виду героев бранных,

Прославленной склоняется главой  
Владыка-сын пред матерью-царицей,  
Да славу их любовь благословит, —  
И вкупе с ним спасенный мир лежит  
Перед твоей священной десницей.

Оставив по причине болезни службу в ополчении, В. А. Жуковский в декабре 1812 года возвращается на родину.

Прибыв со своими детьми к Е. А. Протасовой в Муратово, Авдотья Петровна Киреевская вошла в круг привычного и нового для нее общества. А дело было в том, что «наши помещики принимали охотно к себе пленных, и несколько французов жило у Протасовых. Все старались облегчить участь этих несчастных, многие с ними сдружились; часто природная их веселость брала верх над горькими обстоятельствами, и они оживляли общество своими разговорами и остротами. Из числа тех, которых приютило Муратово, двое постоянно вели междоусобную войну. Один был Мену, племянник известного генерала того же имени, который принял в Египте начальство над армией по смерти Клебера, перешел в исламизм, чтоб угодить мусульманам, женился на мусульманке, был разбит англичанами и по возвращении во Францию принят с почетом Наполеоном и назначен губернатором в Пьемонте. Племянник гордился незавидной славой дяди и был ярым бонапартистом. Политический его враг, генерал Бонами, получивший под Бородином двенадцать ран штыком, не скрывал, наоборот, своей ненависти к Наполеону и предсказывал, что “этот самозванец” загубит окончательно Францию. Раз за обедом, на который Екатерина Афанасьевна пригласила многих соседей, предложили тост за здоровье императора Александра. Бонами выпил молча, но Ме-

ну встал и сказал, подымая свой бокал: “Je bois à la santé de l'empereur Napoléon”<sup>109</sup>. Эта вызывающая выходка сильно подействовала на присутствующих. Все сочли себя оскорбленными, слышались с разных сторон раздраженные голоса, мужчины окружили Мену. Дело приняло бы, вероятно, неблагоприятный оборот, если б в него не вмешался вечный примиритель – Жуковский: он напомнил всем о снисхождении, которое заслуживало положение пленных, находившихся под русским кровом, и успокоил раздраженных»<sup>110</sup>.

События Отечественной войны развивались стремительно. В январе 1813 года кампания перешла в «Заграничный поход русской армии»: боевые действия переместились на территорию Германии и Франции. Жизнь российского дворянства возвращалась, что называется, в привычные берега. А. П. Киреевская вернулась из Муратова в Долбино, где все напоминало ей покойного супруга. По собственному ее выражению, пребывать она стала «в четырех стенах», переезжая «из Мишенского в Долбино, из Долбина в Мишенское, из Мишенского в Игнатьево, из Игнатьева в Мишенское, из Долбина в Володьково, из Володькова в Долбино, из Долбина в Чернь, из Черни домой»<sup>111</sup>.

«Dolbino, – писала Авдотья Петровна 22 апреля 1813 го-

---

<sup>109</sup> Пью за здоровье императора Наполеона (*фр.*).

<sup>110</sup> Киреевский И.В., Киреевский П.В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 14–15.

<sup>111</sup> Там же. С. 87.

да Жуковскому, – c'est le nom de la campagne que j'habite et que j'ai l'honneur de recommander au très cher cousin, dont la mémoire me parait en effet un peu sujette à caution. Je crois que j'ai eu le bonheur de vous entendre nommer plus de 20 fois Dolbino par son véritable nom qui lui a été donné depuis une vingtaine de siècles, – et maintenant<sup>112</sup>, кто же бы мне сказал, что вы забудете даже имя той деревни, где все вас так без памяти любят. Господи помилуй! И батюшки светы, худо мне жить на свете! Нет, сударь! Не только Долбино зовут мою резиденцию, но и самый холодный край на свете называется Долбино, столица галиматы называется Долбино, одушевленный беспорядок в порядке – Долбино! Вечная дремота – Долбино! И пр., и пр., и пр., и пр., и пр., и пр., и пр., и пр., и пр., и пр. Неужели вы и после этого забудете Долбино?»<sup>113</sup>.

В Мишенском весной 1813 года, прожив несколько месяцев в рязанском поместье Охотниковых, остановились вместе со своей теткой А. А. Алымовой Анна и Екатерина Юшковы. Авдотья Афанасьевна наотрез отказалась ехать в Муратово к сестре Екатерине Афанасьевне Протасовой, с которой у нее была серьезная размолвка. Вскорости Алымова тя-

---

<sup>112</sup> Долбино – название деревни, где я живу и которую имею честь рекомендовать дражайшему кузену, память которого, по-видимому, действительно ненадежна. Мне кажется, я более двадцати раз имела счастье слышать, как вы называли Долбино его настоящим именем, данным ему столетий двадцать тому назад, – и теперь (*фр.*).

<sup>113</sup> Киреевский И.В., Киреевский П.В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 86.

жело заболела и умерла.

Игнатьево стало местом жительства молодых супругов: Екатерины Петровны Юшковой и Василия Андреевича Азбукина.

Усадьба Чернь принадлежала Александру Алексеевичу Плещееву – сыну сестры Андрея Ивановича Протасова, следовательно, двоюродному брату Марьи Андреевны и Александры Андреевны Протасовых. Именно в его орловском доме располагался госпиталь, находившийся под попечением Василия Ивановича Киреевского.

А. А. Плещеев «был человек богатый, славился хлебо-сольством, мастерством устраивать *parties de plaisir*<sup>114</sup> в великолепном селе своем Черни, держал музыкантов, фокусников, механиков, выстроил у себя театр, сформировал из своих крепостных труппу актеров и обладал сам замечательным сценическим искусством. Он не мог жить без пиров и забав: каждый день общество, собиравшееся в Черни, каталось, плясало и играло в *Secrétaire*<sup>115</sup>. Отличившийся особенным остроумием был провозглашаем: *le roi ou la reine du Secrétaire*<sup>116</sup>. Королевская роль выпадала чаще всего на долю Анны Петровны Юшковой. Лишь только ее избрание

---

<sup>114</sup> Развлечения (*фр.*).

<sup>115</sup> Игра секретаря состоит в следующем: все играющие садятся около стола, каждый пишет, какой ему вздумается, вопрос на клочке бумаги, который свертывает потом трубочкой. Эти записки кладутся в корзину или ящик; всякий берет, наудачу, которую-нибудь из них и пишет ответ на предложенный вопрос.

<sup>116</sup> Королем или королевою секретарей (*фр.*).

было решено общим советом, она надевала самый лучший свой наряд, и остальные члены общества обращались в ее придворных. Они принимали ее приказания, вели ее торжественно к обеду и носили на себе надписи, означавшие их должности: тут были телохранители, пажи и пр. Француз *mr. Visard*, гувернер маленьких Плещеевых, играл обыкновенно роль хранителя печатей (канцлера), и на его груди красовалась надпись: *Garde des sots*, вместо *sceaux*; каламбур относился к его воспитанникам<sup>117</sup>, с которыми он не умел ладить»<sup>118</sup>.

Александр Алексеевич был очень талантлив, но не красив, смугл, с толстыми губами; В. А. Жуковский в письмах называл его «черная рожа», «мой негр». Его жена Анна Ивановна, урожденная графиня Чернышова, была, напротив, истинной красавицей. Она с удовольствием принимала участие в литературно-музыкальных вечерах своего супруга, исполняя романсы на его музыку. А. А. Плещеев во всем старался угождать супруге, что, правда, не мешало ему ухаживать за другими.

Дни рождения А. И. Плещеевой, 3 августа, превращали Чернь в единое театральное представление. Об одном из таких художественных пиршеств сохранилось даже устное

---

<sup>117</sup> *Sceaux* и *sots* произносятся одинаково по-французски, но первое значит «печати», а второе «дураки», и надпись, которую француз носил на груди, значила: хранитель дураков.

<sup>118</sup> Киреевский И.В., Киреевский П.В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 16.

предание: «После обедни, на которую съехались ближние и дальние соседи, хозяин предложил прогулку. Пошли на лужайку, где, к общему удивлению, стояла выросшая за ночь роща. Когда виновница пира к ней приблизилась, роща склонилась перед ней и обнаружился жертвенник, украшенный цветами, возле него стояла богиня, которая приветствовала Анну Ивановну поздравительными стихами. Потом богиня и жертвенник исчезли, и на место их явился стол с роскошным завтраком. По выходе из-за стола Плещеев спросил у жены и гостей, расположены ли они воспользоваться хорошей погодой, и привел их к канавке, за которой возвышалась стена. Вход в ворота был загорожен огромной женской статуей, сделанной из дерева. “Madame Gigogne, voulez-vous nous laisser entrer?”<sup>119</sup> – закричал хозяин. Но негостеприимная madame Gigogne размахивала руками вправо и влево и кивала грозно головой. Тогда явился монах и стал творить над ней заклинанья, разумеется, по-французски. Победенная madame Gigogne упала во весь рост через канаву, и спина ее образовала мост. С своей стороны монах превратился в рыцаря и приглашал гостей войти. Когда они перешагнули за ворота, целый город представился их взорам. Тут возвышались башни, палатки, беседки, качели. Между ними стояли фокусники с своими снарядами и сновали колдуньи, которые предсказывали каждому его будущность. Под звук военной музыки маневрировал полк солдат. На их знаменах и киве-

---

<sup>119</sup> Мадам Жигон, позволите ли нам войти? (*фр.*).

рах стояла буква *H*, так как Плещеев звал жену свою Ниной. Лавочники приглашали посетителей взглянуть на их товары и подносили каждому подарок. Для крестьян были приготовлены лакомства всякого рода. У одной из башен стоял молодец, который зазывал к себе гостей. “Voulez-vous entrer, mesdames et messieurs, – кричал он, – voulez-vous entrer: nous vous ferons voir de belles choses”<sup>120</sup>. В башне была устроена камера-обскура: все входили и глядели поочередно сквозь стеклышко, вставленное в ящик, на портрет Анны Ивановны, вокруг которого плясали амуры. (Этот фокус был устроен очень искусно: на отдаленном лугу был начерчен круг, и крестьянские дети, превращенные в амуров, плясали около него, а портрет был поставлен так, что занимал пространство круга).

Обед был, разумеется, роскошный; потом общество получило приглашение на спектакль. Давали “Филоктета”, трагедию Софокла, переложенную на французский язык, потом трагедию-фарс, под заглавием: “Le Sourd, ou l’äuberger pleine”<sup>121</sup>. На этом представлении отличался сам Плещеев, который дополнил комедию своими остротами, уморил со смеху публику. За спектаклем следовали иллюминация, танцы и ужин.

Но этот день, посвященный таким блестящим забавам,

---

<sup>120</sup> Не угодно ли вам войти, милостивые государыни и государи, не угодно ли вам войти, мы вам покажем прекрасные вещи (*фр.*).

<sup>121</sup> «Глухой, или Наполненная гостиница» (*фр.*).

чуть не навлек неприятностей на амфитриона. Из числа его гостей нашлись люди, которым показалась сомнительною буква *Н*, стоявшая на знаменах и киверах солдат, маневрировавших в импровизированном городе. В этой злосчастной букве прочли не имя Нины, а Наполеона. Насчет Плещеева стали ходить такие неприятные слухи, что губернатор счел долгом пригласить его к себе. Плещеев объяснил ему дело – и обещался быть осторожнее»<sup>122</sup>.

Помимо топонимически очерченного А. П. Киреевской круга родственников, с которыми она в то время общалась, нельзя не упомянуть и ее хороших знакомых: барона и баронессу Черкасовых; в их имении Володьково Авдотья Петровна отдыхала душой.

Некоторые из перечисленных лиц вошли в так называемые Долбинские стихотворения В. А. Жуковского<sup>123</sup>, относящиеся к 1814 году:

Добрый совет  
(в альбом В. А. Азбукину)  
Любовь, надежда и терпенье —  
На жизнь порядочный запас.  
Вперед, без страха, в добрый час,  
За все порука Провиденье.  
Блажен, кому вослед

---

<sup>122</sup> Киреевский И.В., Киреевский П.В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 17–18.

<sup>123</sup> Там же. С. 66–85; Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 87–97.

Она веселье в жизнь вливает,  
И счастья радугу являет  
На самой грозной туче бед.  
Пока заря не воссияла —  
Бездушен, хладен, тих Мемнон;  
Заря вошла – и дышит он,  
И радость в мраморе взыграла.  
Таков любви волшебный свет,  
Великих чувств животворитель,  
К делам возвышенным стремитель;  
Любви нет в сердце – жизни нет!  
Надежда с чашею отрады  
Нам добрый спутник – верь, но знай,  
Что не земля, а небо рай;  
Верней быть добрым без награды.  
Когда ж надежда улетит —  
Взгляни на тихое терпенье,  
Оно утечи обольщенье  
Прямую силой заменит.  
Лишь бы, сокровище святое,  
Доброта сохранилась нам;  
Достоин будь – а небесам  
Оставь на волю остальное.

Записочка в Москву к трем сестрицам<sup>124</sup>

Скажите, милые сестрицы,  
Доехали ль, здоровы ль вы,  
И обгорелые столицы  
Сочли ли дымные главы?  
По Туле много ли гуляли?  
Все те же ль там – завод, ряды,  
И все ли там пересчитали  
Вы наших прежних лет следы?  
Покрытая пожарным прахом,  
Москва, разбросанный скелет,  
Вам душу охладила ль страхом;  
А в Туле прах минувших лет  
Не возродил ли вспоминанья  
О том, что было в оны дни,  
Когда вам юность лишь одни  
Пленительные обещанья  
Давала на далекий путь.  
Призвав неопытность в поруку,  
Тогда, подав надежде руку,  
Не мнили мы, чтоб обмануть  
Могла сопутница крылата,  
Но время опыт привело,  
И многих, многих благ утрата  
Велит сквозь темное стекло  
Смотреть на счастье земное,  
Чтобы сияние живое

---

<sup>124</sup> Возможно, что «три сестрицы» – это жена барона Петра Ивановича Черкасова и ее сестры.

Его пленительных лучей  
Нам вовсе глаз не заслепило...  
Друзья, что верно в жизни сей?  
Что просто, но что сердцу мило,  
Собрав поближе в малый круг  
(Чтоб взор наш мог окинуть вдруг),  
Мечты уступим лишь начавшим  
Идти дорогою земной  
И жребия не испытавшим,  
Для них надежда – сон златой,  
А нам будь в пользу пробужденье.  
И мы, не мысля больше вдаль,  
Терпеньем подсластим печаль,  
Веселью верой в Провиденье  
Неизменяемость дадим.  
Сей день покоем озлатим,  
Красою мыслей и желаний  
И прелестью полезных дел,  
Чтоб на неведомый предел  
Сокровище воспоминаний  
(Прекрасной жизни зрелый плод)  
Нам вынести из жилища праха  
И зреть открытый нам без страха  
Страны обетованной вход.

Расписка Маши<sup>125</sup>

Что ни пошлет судьба, все пополам!  
Без робости, дорогою одною,  
В душе добро и вера к небесам,  
Идти тебе вперед, нам за тобою!  
Лишь вместе бы, лишь только б заодно,  
Лишь в час один, одна бы нам могила!  
Что, впрочем, здесь ни встретим – все равно!  
Я в том за всех и руку приложила.

В альбом баронессе Елене Ивановне Черкасовой  
Где искренность встречать выходит на крыльцо  
И вместе с дружбой угощает;  
Где все, что говорит лицо,  
И сердце молча повторяет,  
Где за большим семейственным столом  
Сидит веселая свобода  
И где, подчас, когда нахмурится погода,  
Перед блестящим камельком,  
В непринужденности живого разговора  
Позволено дойти до спора —  
Зашедши в уголок такой,  
Я смело говорю, что я зашел домой.

---

<sup>125</sup> Марье Андреевне Протасовой.

Записка к баронессе Черкасовой  
И я прекрасное имею письмецо  
От нашей долбинской Фелицы<sup>126</sup>.  
Приписывают в нем и две ее сестрицы<sup>127</sup>;  
Ее же самое в лицо  
Не прежде середи увидеть уповаю;  
Итак, одним пораньше днем  
В володьковский эдем  
Во вторник быть располагаю —  
Обедать, ночевать,  
Чтоб в середу обнять  
Свою летунью всем собором  
И ей навстречу хором  
«Благословен грядый» сказать.  
Мои цыпляточки<sup>128</sup> с Натальею-наседкой  
Благодарят от сердца вас  
За то, что помните об них, то есть об нас.  
Своею долбинскою клеткой  
(Для рифмы клетка здесь) весьма довольны мы:  
Без всякой суетной чумы  
Живем да припеваем.  
Детята учатся, подчас шалят,  
А мы их унимаем,  
Но сами не умней ребят.

---

<sup>126</sup> Авдотья Петровна Киреевская.

<sup>127</sup> Анна Петровна и Екатерина Петровна.

<sup>128</sup> Дети А. П. Киреевской: Иван, Петр, Марья.

По крайней мере, я – меж рифмами возиться  
И над мечтой,  
Как над задачей, трудиться...  
Но просим извинить: кто в праве похвалиться,  
Что он мечте не жертвует собой?  
Все здесь мечта – вся разница в названье,  
Мечта – веселье, мечта – страданье,  
Мечта и красота;  
И всяк мечту зовет, как Дон Кихот принцессу,  
Но что володьковскую баронессу  
Я всей душой люблю... вот это не мечта.

P. S.

Во вторник ввечеру  
Я буду (если не умру  
Иль не поссорюсь с Аполлоном)  
Читать вам погребальным тоном,  
Как ведьму черт унес<sup>129</sup>,  
И напугаю вас до слез.

К А. А. Плещееву  
Ну, как же вздумал ты, дурак,  
Что я забыл тебя, о, рожа!  
Такая мысль весьма похожа  
На тот кудрявый буерак,

---

<sup>129</sup> Очевидно, имеется в виду «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне и т. д.».

Который, или нет, в котором,  
Иль нет опять, а на котором...  
Но мы оставим буерак,  
А лучше, не хитря, докажем,  
То есть простою прозой скажем,  
Что сам кругом ты виноват,  
Что ты писать и сам не хват;  
Что неписание и забвеньё  
Так точно то же и одно,  
Как горький уксус и вино,  
Как вонь и сладкое куренье.  
И как же мне тебя забыть?  
Ты не боишься белой книги!  
Итак, оставь свои интриги  
И не изволь меня рядить  
В шуты пред дружбою священной.  
Скажу тебе, что я один,  
То есть, что я уединенно  
И не для собственных причин  
Живу в соседстве от Белёва  
Под покровительством Гринёва<sup>130</sup>,  
То есть, что мне своих детей  
Моя хозяйка поручила  
И их не оставлять просила,  
И что честное слово ей  
Я дал и верно исполняю,  
А без того бы, друг мой, знаю,  
Давно бы был я уж в Черни.

---

<sup>130</sup> Управляющий в Долбине.

Мои уединенны дни  
Довольно сладко протекают.  
Меня и музы посещают,  
И Аполлон доволен мной,  
И под перстом моим налой  
Трещит – и план и мысли есть,  
И мне осталось лишь присесть  
Да и писать к царю посланье.  
Жди славного, мой милый друг,  
И не обманет ожиданье.  
Присыпало все к сердцу вдруг.  
И наперед я в восхищенье  
Предчувствую то наслажденье,  
С каким без лести в простоте  
Я буду говорить стихами  
О той небесной красоте,  
Которая в венце пред нами,  
А ты меня благослови,  
Но, ради Бога, оживи  
О Гришином выздоровлень  
Прекрасной вестию скорей,  
А то растает вдохновенье,  
Простите. Ниночке моей  
Любовь, и дружба, и почтенье,  
Прошу отдать их не деля,  
А Губареву<sup>131</sup> – киселя!

---

<sup>131</sup> Товарищ Жуковского по Благородному пансиону.

Послание к А. А. Воейковой<sup>132</sup>

Сашка, Сашка!

Вот тебе бумажка,

Сегодня шестое ноября,

И я, тебя бумажкой даря,

Говорю тебе: здравствуй,

А ты скажи мне: благодарствуй.

И желаю тебе всякого благополучия,

Как в губернии маркиза Паулучия<sup>133</sup>,

Так и во всякой другой губернии и уезде,

Как по приезде, так и по отъезде,

Избави тебя Бог от Грибовского,

А люби и почитай господина Жуковского.

К Букильону

*(управляющему Плещеева)*

De Vouquillon

Je vais chanter la fête;

Je creuse donc ma tête,

Mais je me sens trop bête

Pour célébrer la fête

---

<sup>132</sup> Александра Андреевна Воейкова, урожденная Протасова.

<sup>133</sup> Речь идет о генерал-губернаторе Лифляндии, Эстляндии и Курляндии Филиппе Осиповиче Паулуччи.

De Bouquillon.  
Cher Bouquillon,  
Je suis trop téméraire,  
Je devrais bien me taire;  
Mais comment ne pas braire,  
Que la fête m'est chère,  
Cher Bouquillon.  
Pour Bouquillon  
Invocons donc la rime!  
Et grimpons sur la cime  
De l'Olympe sublime.  
La muse nous anime  
Pour Bouquillon.  
O, Bouquillon!  
Ce jour qui va paraître,  
Il t'a vu déjà naître,  
Mais il me fait connaître  
Que tu n'es plus à naître,  
O, Bouquillon!  
Par Bouquillon  
S'embellit la nature!  
Son âme est bon et pure,  
Je dis sans imposture,  
Je l'aime, et je le jure  
Par Bouquillon<sup>134</sup>.

---

<sup>134</sup> Тебе, Букильон,Пою, Букильон,Твой день велик,Мой глас так тих.Для тебя, Букильон,Виват, Букильон!Я слишком смел,Но я посмел,Не смог стерпеть:Хочу воспетьТебя, Букильон,Виват, Букильон!И муза мояПоднимет меняНа вершину Олимпа,Тебе моя рифма,Друг Букильон,Виват, Букильон!

Ему же  
(отрывок)  
Был на свете Букильон  
И поэт Жуковский,  
Букильону снился сон  
Про пожар московский.  
Видел также он во сне,  
Что Пожарский на коне  
Ехал по Покровской.  
О, ужасный, грозный сон!  
Знать, перед кручиной!  
Вот проснулся Букильон,  
Чистит зубы хиной.  
Пробудился и поэт  
И скорехонько одет  
Он в тулуп овчинный...

Записка к Свечину<sup>135</sup>

Извольте, мой полковник, ведать,

---

Сей день настает:Светлый праздник грядет!О, радости час,Прижми к себе нас,Дорогой Букильон,Виват, Букильон!Ликует природа!Тебе моя ода,Добрый, чистый душой(Не лукавит стих мой),Наш друг Букильон,Виват, Букильон!

<sup>135</sup> Супруг Марьи Николаевны Свечиной, урожденной Вельяминовой – дочери Натальи Афанасьевны Вельяминовой, урожденной Буниной.

Что в завтрашний субботный день  
Я буду лично к вам обедать,  
Теперь же недосуг. Не лень,  
А Феб Зевесович мешает...  
Но буду я не ночевать,  
А до вечерни поболтать,  
Да выкурить две трубки,  
Да подсластить коньяком губки,  
Да сотню прочитать  
Кое-каких стишонок,  
Чтоб мог до утра без просонок  
Полковник спать.

В октябре 1813 года русское общество праздновало разгром Наполеона в битве под Лейпцигом. Победный дух нации, патриотизм – вот что было на устах у всех... Нового года ждали как этапа очередных свершений и побед, которые были не за горами (в апреле 1814 года Наполеон отречется от трона Франции, а в мае произойдет подписание Парижского мирного договора).

Конец декабря 1813 года в Муратово отмечали настоящим весельем. Екатерина Афанасьевна Протасова «разослала много приглашений по соседству, Жуковский приготовил стихи. Увеселенья начались с фокусов и жмурок. Бегая друг за дружкой, молодые люди поглядывали, в ожидании сюрприза, на таинственный занавес, прикрепленный между двух колонн, поддерживавших потолок залы. В данную минуту

занавес поднялся, и перед зрителями явился Янус. На его затылке была надета маска старика; голову окружала бумага, вырезанная короной, над лбом было написано крупными буквами число истекавшего года *1813*; над молодым лицом стояла цифра *1814*. Обе надписи были освещены посредством огарка, прикрепленного к голове римского бога. Его роль исполнял один из крепостных людей, которому приказано было переносить, не морщась, боль от растопленного воска, если он потечет на его макушку. Старик Янус поклонился обществу и промолвил:

Друзья, мне восемьсот —  
Увы! — тринадцатый,  
Весельем не богатый  
И очень старый год.

Потом он обернулся к публике молодым своим лицом и продолжал:

А брат, наследник мой,  
Четырнадцатый родом,  
Утешит вас приходом  
И мир несет с собой.

В ответ на слова Януса прозвучала полночь, выпили шампанское и сели за ужин»<sup>136</sup>.

---

<sup>136</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех

Все шло своим чередом и развивалось так, что, как отмечала А. П. Киреевская, «постороннему взору и приметить перемены какой-нибудь невозможно»<sup>137</sup>. Однако именно 1813–1814 годы для муратовского общества были самыми напряженными. На глазах родных и близких шла мучительная борьба В. А. Жуковского за руку Марьи Андреевны Протасовой. Киреевская не только знала о глубоком чувстве Василия Андреевича к Марье Алексеевне и его страстном желании жениться, но и принимала в том живое участие. Впрочем, не только она...

Первоначально у Жуковского была крепкая надежда на возможность брака с М. А. Протасовой, которая отвечала ему взаимностью. Так продолжалось приблизительно до середины 1812 года, когда Василий Андреевич открыл свои намерения Екатерине Афанасьевне, но здесь неожиданно для себя встретился с решительным отказом: Е. А. Бунина ссылалась на устав церкви, который, по ее убеждению, запрещает браки между близкими родственниками. Жуковскому было строго запрещено говорить кому бы то ни было и о его любви, и о своем решении. Между тем 3 августа 1812 года в доме Плещеевых праздновался очередной день рождения хозяйки. Был концерт, на котором в присутствии многочисленных окрестных помещиков, в том числе и Протасовых, В. А. Жуковский с большим воодушевлением исполнил своего

---

томах. Т. 4. С. 15.

<sup>137</sup> Там же. С. 87.

«Пловца», положенного на музыку А. А. Плещеевым:

Вихрем бедствия гонимый,  
Без кормила и весла,  
В океан неисходимый  
Буря челн мой занесла.  
В тучах звездочка светилась;  
«Не скрывайся!» – я взывал;  
Непреклонная сокрылась;  
Якорь был – и тот пропал.

Все оделось черной мглою;  
Всколыхалися валы;  
Бездны в мраке предо мною;  
Вкруг ужасные скалы.  
«Нет надежды на спасенье!» —  
Я роптал, уныв душой...  
О безумец! Провиденье  
Было тайный кормщик твой.

Невидимую рукою,  
Сквозь ревущие валы,  
Сквозь одеты бездны мглою  
И грозящие скалы,  
Мощный вел меня хранитель.  
Вдруг – все тихо! мрак исчез;  
Вижу райскую обитель...  
В ней трех ангелов небес.

О спаситель-Провиденье!  
Скорбный ропот мой утих;  
На коленах, в восхищенье,  
Я смотрю на образ их.  
О! кто прелесть их опишет?  
Кто их силу над душой?  
Все окрест их небом дышит  
И невинностью святой.

Неиспытанная радость —  
Ими жить, для них дышать;  
Их речей, их взоров сладость  
В душу, в сердце принимать.  
О судьба! одно желанье:  
Дай все блага им вкусить;  
Пусть им радость – мне страданье;  
Но... не дай их пережить<sup>138</sup>.

Е. А. Протасова увидела в этой песне намек на чувства исполнителя к своей дочери и на свой отказ в их свадьбе; Екатерина Афанасьевна объявила дочери о невозможности брака между дядей и племянницей, а Жуковскому о запрете посещать Муратово.

Чувство одиночества и покинутости охватило В. А. Жуковского. Никакие гражданские устремления в год военного лихолетья не могли заглушить чувство личного несчастья. Даже из действующей армии, как только возникла оказия,

<sup>138</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 46.

он вырвался на два дня в Муратово, чтобы, по возможности, сгладить возникшие неприязненные отношения. Но Екатерина Афанасьевна Протасова продолжала обращаться с Жуковским сурово, особо подчеркивая свою набожность, что еще больше раздражало Василия Андреевича. «Говеть не значит: есть грибы, в известные часы класть земные поклоны и тому подобное, – писал он в своем дневнике 25–26 февраля 1814 года, – это один обряд, почтенный потому только, что он установлен давно, но пустой совершенно, если им только и ограничится говенье. Оно имеет для меня совсем другое значение. В эти дни более, нежели в другие, должно быть в самом себе, обдумать прошедшую жизнь, рассматривать настоящее и мыслить о будущем и все это в присутствии Бога. Вот что есть пост. И так только, а не иначе, можно себя приготовить к священному таинству исповеди и причастия».

И далее о своей неизлечимой грусти: «Смотря на прошедшее вообще (частные, мелкие недостатки и проступки в сторону), я не имею причины упрекать себя ни в чем таком, чтобы оставляло на всю жизнь раскаяние; но и только. Вся прошедшую жизнь мою можно назвать потерянною – для меня потерянную; я мог бы быть совсем не то, что я теперь. Начинать быть новым теперь поздно; можно бы быть лучшим – вероятно, что и то не удастся. Но при всей бесплодности прошедшего мое будущее могло бы быть прекрасно. Если я ничем не воспользовался в жизни, то по крайней мере ничто во мне не испорчено – я готов жить и жить прекрасно.

Вот мне тридцать лет – а то, что называется истинною жизнью, мне еще незнакомо. Я не успел быть сыном моей матери – в то время, когда начал чувствовать счастье сыновнего достоинства, она меня оставила; я думал отдать права ее другой матери, но эта другая дала мне угол в своем доме, а отделена была от меня вечным подозрением; семейственного счастья для меня не было; всякое чувство надобно было стеснять в глубине души; несмотря на некоторые признаки дружбы я сомневался часто, существует ли эта дружба, и всегда оставался в нерешимости, чрезмерно тягостной: сказать себе, дружбы нет! я не мог решительно, этому противилось мое сердце; сказать себе, что она есть, – этому многое, слишком многое противилось. На что было решиться? Скрывать все в самом себе, и терпеть, и даже показывать вид, что всем доволен – принуждение слишком тяжелое при откровенности моего характера, который однако от навыка сделался и скрытным. Причина всему этому одна – приди все в порядок, и все переменится, искренность и доверенность сами собою возобновятся; унылость исчезнет – останется думать только о том, как бы жизнь была спокойна и сообразна с волею Промысла. И эта одна причина... должен ли я ее стыдиться? Могу ли себя упрекать? О, нет! Я теперь сужу себя беспристрастно! Совесть моя спокойна: я не желаю ни невозможного, ни непозволенного. В этом никто не переубедит меня – исполнится ли то, что одно может быть мне счастье, это, к несчастью, зависит не от меня, а от других; но для меня

останется, по крайней мере, уверение, что я искал его не в низком, не в том, что противно Творцу и человеческому достоинству, а в лучшем и благороднейшем; я привязывал к нему все лучшее в жизни – не будет его, не будет и прочего; не моя вина. Останется дожить как-нибудь положенный срок, который, вероятно, будет и не долог. Жаль жизни – такой, как я ее представляю, тихой, ясной, деятельной, посвященной истинному добру; но того, что обыкновенно называют жизнью, того совсем не жаль – и чем скорее, тем лучше. Тогда бы мог я упрекать себя за прошедшее, когда бы употреблял непозволенные средства исполнить свои надежды – нет! я хотел и хочу счастья чистого. Я берег одну надежду. Покорностию и терпением думал купить себе исполнение. И это исполнение было бы не дорого куплено, хотя во все последние годы не помню дня истинно счастливого; сколько же печального! а все вместе – удел незавидный. Мысль, что все может перемениться, что настоящее заменится прекрасным будущим, была моею опорой, – но эта мысль не помешала мне приобрести совершенного равнодушия к жизни, которое, наконец, сделалось главным моим чувством: чувство убийственное для всякой деятельности. Как хотеть быть добрым в жизни, считая и самую жизнь ненужною? Самая вера не ослабевает ли при таком равнодушии. Другим нужно несчастье, чтобы привести в силу их душевные качества. Мне, напротив, нужно счастье – то счастье, которое может быть моим, ибо нет общего для всех счастья. В нем одном

вижу свое преобразование.

Такое мое прошедшее. Что же в настоящем? Все еще одна надежда. Но должно ли этому так остаться? Нет! Необходимо выйти из нерешимости. Но доказательством, что моя надежда не есть виновная, служит то действие, которое производит душе моей вероятность ее исполнения. Ею пробуждаются лучшие чувства и, не знаю, какая-то живая, сладостная вера, необходимость любить Провидение и на него полагаться. Как был счастлив для меня тот день – не помню лучшего во всей жизни – в который я решился говорить с Иваном Владимировичем<sup>139</sup>. Во мне было уверение, что он оправдает мою привязанность. А это представило мне вероятность, что я буду счастлив: чувство точно воскресительное для моей души. Я видел перед собою не одно исполнение желания – этого было бы мало, и счастье не в том; нет, я видел перед собою новую жизнь, видел себя тем, чем бы я желал быть – не автоматом, напрасно живущим в Божием свете. Сердце у меня билось, когда смотрел на чистое небо, и я мысленно делал клятву быть достойным своею жизнью Божества, обещающего мне такое счастье в своем мире: я чувствовал необходимость более любить его, к нему все относить, ибо в нем видел крепость своего счастья. Религия есть благодарность. В эту минуту твердая вера представлялась мне ясно нужнейшею потребностью человеческого сердца. Это живое чувство не обмануло меня; я уверен, что оно есть голос Бо-

---

<sup>139</sup> Иван Владимирович Лопухин.

жий – Иван Владимирович одобрил меня. С тех пор на душе у меня спокойнее. Я уверен в чистоте моей надежды, и в настоящем ничто не пугает меня.

Но будущее! Оно пугает меня одною своею неизвестностью. Я могу здесь дать себе отчет в одних только намерениях. Их исполнение не в моей власти. Но мои намерения моя собственность, и здесь всякое постороннее право исчезает. Здесь может судить один только Тот, Кто читает в глубине сердца. Пускай же читает Он в моем. Я не боюсь Его взора и то, чего желаю, Его достойно, есть лучшее, что могу принести Ему в жертву. Истинное достоинство человека в его мыслях и чувствах. Они невидимы для других, но известны Сердцеведцу. То, что желаю, не сделало ли бы мою жизнь лучшею? Следственно, не есть ли оно невинно и свято? Какие мои намерения? Иметь драгоценнейшие связи; их сохранению посвятить свою жизнь; спокойствие души, усовершенствование сердца, деятельность, им свойственная, самая религия – все для меня в одном! Как же не желать его всеми силами души! Что иное может мне быть заменою. Не желай невозможного, скажут. Но чтобы перестать желать того, что сделало бы жизнь счастливою, подлежит увериться в его невозможности. Я ее здесь не вижу, не видал и никогда видеть не буду. Сам бросить своего счастья не могу: пускай его у меня вырвут, пускай его мне запретят; тогда, по крайней мере, не я буду причиною своей утраты. Жертвовать собою не значит еще соглашаться, что жертва необходима и угодна

Богу, которому ее насильно приносят. Он дал мне совесть. От чего же эта совесть спокойна, когда я рассматриваю желани-  
я своего сердца и рассматриваю их в уверении, что у меня  
есть строгий свидетель; отчего, представляя исполненными  
свои намерения, чувствую в себе самую чистую радость, ви-  
жу себя лучшим? Неужели это доказательство, что мои на-  
мерения дурные? А какое другое правило вернее в суждении  
о самом себе. Я не один; прекрасные люди, истинные христи-  
ане, одобряют меня; а мнение, противящееся мне, само по  
себе сомнительно и для тех, которые его имеют. Если бы че-  
ловеку, совершенно равнодушному, надлежало произвести  
приговор, что бы он сказал? Одно мнение поддерживает ис-  
тинный христианин, но оно разрушает счастье; другое, ему  
противное мнение, также истинный христианин защищает,  
и оно дает счастье – которое справедливо?.. Без сомнения  
то, на которой стороне счастье, ибо оно им оправдывается.  
Так бы должен был решить беспристрастный, но наш судья,  
мать.

Мои намерения достойны моего Творца и моя молитва к  
нему: чтобы он исполнением их дал мне единственный спо-  
соб его удостоиться в жизни, или чтобы скорее взять от меня  
обратно жизнь, совершенно бесплодную. Вот вся моя испо-  
ведь»<sup>140</sup>.

О душевном состоянии В. А. Жуковского была прекрас-

---

<sup>140</sup> Полное собрание сочинений В. А. Жуковского в двенадцати томах. Т. 12.  
С. 142–145.

но осведомлена А. П. Киреевская, о чем свидетельствует ее письмо, датированное 1813 годом: «...Сердцу друга надобно бы взглянуть на внутрь, но это милое сердце, может стать, само имеет нужду в утешении, а на сегодня все бессмертные посетители спрятались в туман, гремят одни цепи и не пускают к милому краю родины, итак – courage et persévérance<sup>141</sup>! Будущее и настоящее – все сердцу неизменного друга – и позвольте помолчать, пока хочется квакать, т. е. жаловаться или быть недовольной. У меня новых синонимов тьма, Жуковский! Все ваши альбомчики записывались! А счетных книг довольно и старых! В природе хорошего мало, итог с тех пор, как мы расстались, редко подводится, разве под расходом счастья! Ну, ежели это тоска перед радостью? Ну, ежели вы скажете: “Ура, поймал!” Скорей сказывайте мне, что там с вами делается, признаюсь, порядочно наши с вами души мучаются.

Mais le Purgatoire laisse du moins un Paradis à espérer, si vous me parlez de votre bonheur, me voilà tout de suite aux Elysées. Du reste, c'est pour me tromper moi-même que je fais semblant de prendre mon agitation pour le pressentiment du bonheur, – cher ami, je n'espère rien! Ni les têtes couronnées, ni les coeurs amis, ni les persuasions raisonnables ne peuvent rien quand il s'agit de conscience! Vous ne voudrez pour vous-même d'un bonheur qui lui coûterait son repos, et qui par là même ne serait plus un bien pour aucun de vous. Pour vous avouer

---

<sup>141</sup> Храбрость и отвага (фр.).

franchement, je suis fâchée même de ces nouveaux efforts, de ces nouvelles espérances, qui ne servirent qu'à tourmenter votre coeur, – combien de fois faudra-t-il renoncer, se désespérer, revenir à se contenter de la simple belle vertu et puis se jeter de nouveau à corps perdu dans tous les orages d'une mer agitée, dont toutefois les vagues bienfaisantes vous portent contre votre gré sur le rivage? Pardon, mon cher ami, que Dieu nous garde ce que nous avons, qu'il vous conserve votre amie charmante, vos vertus, et qu'il remplisse votre Coeur de tout le bonheur de son amour. Abandon! Et foi! Et aimons sans mesure! À Dieu!<sup>142»143.</sup>

Годы 1813–1814 были для В. А. Жуковского временем страшных терзаний и мучительных переходов от надежды на счастье к полному отчаянию. Он обращался за содействи-

---

<sup>142</sup> Но чистилище, по крайней мере, оставляет надежду на рай, если вы говорите мне о вашем счастье – вот я и на Елисейских полях. Впрочем, это чтобы обмануть самое себя, я принимаю свое волнение за предчувствие счастья, дорогой друг, я ни на что не надеюсь! Ни коронованные особы, ни дружеские сердца, ни уговоры разума не могут ничего в делах совести! Вы сами не захотите счастья, которое будет стоить ей покоя и которое уже поэтому не будет благом ни для кого из вас. Признаться откровенно, я даже недовольна этими новыми усилиями, этими новыми надеждами, которые только измучили ваше сердце – сколько раз еще надо будет отказываться, отчаиваться и опять довольствоваться простой и прекрасной добродетелью, а потом снова бросаться очертя голову во все бури взбаламученного моря, благодарные волны которого помимо нашей воли выносят вас на берег? Простите, мой дорогой друг, да сохранит нам Бог то, что мы имеем, сохранит вам вашу милую подругу, ваши добродетели и наполнит ваше сердце всем счастьем ее любви. Отдадимся течению! И будем верить! И любить без меры! С Богом! (*фр.*)

<sup>143</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 87–88.

ем к друзьям, к родным, к духовенству, чтобы разубедить Е. А. Протасову в ее взгляде на препятствия к браку. Ничего не помогало, и всякие новые попытки вызывали для Жуковского только новые тяжелые сцены объяснений с Екатериной Афанасьевной и увещеваний с ее стороны, заставлявшие страдать и ее, и его, и Марию Андреевну Протасову.

Вся напряженность момента прекрасно видна из переписки Жуковского. Так, 15 декабря 1813 года он пишет своей племяннице Авдотье Николаевне Арбеновой, дочери Натальи Афанасьевны Вельяминовой, урожденной Буниной: «Не могу изъяснить вам, моя милая и истинный друг, как мне жаль, что я – бедная, безденежная тварь; а каким бы было для меня наслаждением отдать вам последнюю копейку! Для чего черти нынче не то, что были в старину; я заложил бы первому черту, по примеру моего приятеля Громобоя, душу, взял бы у него неистощимый кошелек и посыпал бы из него червонцами во имя ваше до тех пор, пока бы вы не закричали: “Стой, довольно!” И уверен, что причина, для которой погубил бы душу, была бы спасением: кто жертвует собой для дружбы, тому никогда райская дверь закрыта не будет. Шутки в сторону. Вот вам положение дел моих *in naturalibus*. Капиталу у меня верного всего-навсего есть 2500, и те отданы. Есть у меня еще деревнишка; я ее продаю и должен получить за нее 12 000. Для чего продаю, спросите вы. Вот для чего. Тетушка Екатерина Афанасьевна продала деревню Меньково за 33 500, из коих 1000 уже употреблены на упла-

ту казенного долга; следовательно, ей остается 32 500; в то же время купила она другую деревню за 50 000; прибавьте к этому 1000 на пошленные расходы, на купчую, выйдет 51 000. Вот на ней долгу 8500; да еще собственного долгу имеет она 9000, всего 17 500. Это побудило меня разделаться со своею деревнею и отдать ей свои 12 000; почему видите, милая, что из этой суммы не могу вам дать ничего. Мне быть должною для нее нетяжело; напротив, всякому другому долг был бы для нее отяготителен. В иные минуты ничего бы так не желал, как всемогущества (безделица!). Но я из него сделал бы прекрасное употребление: я употребил бы его на счастье моих друзей. И как бы вы были счастливы тогда! Говорю это от полноты сердца и признаюсь с горем, воображая, как я беден и как ничтожны одни желания. А люблю вас более, нежели когда-нибудь, люблю как сестру, которой мое счастье дорого и, думая от вас, всегда сердце у меня разгорячается. Еще о многом надобно мне говорить с вами; я намерен вам открыть свою душу и, может быть, вам назначено иметь величайшее влияние на судьбу целой моей жизни. Теперь скажу только одно, что я, при всей возможности пользоваться истинными благами жизни, чувствую одну только тяготу жизни, что большая часть ее проходит для меня в желании ее прекращения; все бы могло для меня перемениться, и ничто не меняется. Все это для вас загадки или, может быть, полузагадки. Погодите, милый друг, милая сестра; я с вами объясняться теперь еще не могу, но ско-

ро получите от меня предлинное письмо. Уверен только в том, что в вашем сердце найду сильнейшего моего заступника; ваше сердце богато истинною чувствительностию и выше всех ничтожных предубеждений, разрушителей всякой чувствительности. En attendant<sup>144</sup>, любите меня. Об наших скажу, что они теперь все здоровы. Не пишут к вам, потому что теперь нет времени. Мы говорим об вас часто, и тот, кто говорит, у того сверкают глаза и рад бы прижать к сердцу тех, кто его слушает и понимает. Но прошу вас, милая, в ваших письмах к ним не упоминать об моем и не говорить со мною ни об каких объяснениях. То, что теперь я к вам писал, принадлежит нам одним. У меня еще сидит в голове и стихотворное к вам послание:

К Авдотье Николаевне Арбеновой

(племяннице)

«Рассудку глаз! другой воображенью!» —

Так пишет мне мой стародавний друг.

По совести, такому наставленью

Последовать я соглашусь не вдруг.

Не славно быть циклопом однооким!

Но почему ж славнее быть косым?

А на земле, где опытом жестоким

Мы учены лишь горестям одним,

Не лучший ли нам друг воображенье?

И не оно ль волшебным фонарем

---

<sup>144</sup> Ожидая (фр.).

Являет нам на плате роковым  
Блестящее блаженства привиденье?  
О друг мой! Ум всех радостей палач!  
Лишь горький сок дает сей грубый врач!  
Он бытие жестоко анатомит:  
Едва пленил мечты наружный свет,  
Уже злодей со внутренним знакомит...  
Призрак исчез – и грация – скелет.  
Оставим тем, кто благами богаты,  
Их обнажать, чтоб рок предупредить;  
Пускай спешат умом их истребить,  
Чтоб не скорбеть от горькой их утраты.  
Но у кого они наперечет,  
Тому совет: держись воображенья!  
Оно всегда в печальный жизни счет  
Веселые припишет заблужденья!

А мой султан – султанам образец!  
Не все его придворные поэты  
Награждены дипломами диеты  
Иль вервием... Для многих есть венец.  
Удавка тем, кто ищет славы низкой,  
Кто без заслуг, бескрылые, ползком,  
Вскарабкались к вершине Пинда склизкой —  
И давит Феб лавровым их венком.  
Пост не беда тому, кто пресыщенья  
Не попытал, родясь бедняком;  
Он с алчностью желаний незнаком.  
В поэте нет к излишнему стремленья!

Он не слуга блистательным мечтам!  
Он верный друг одним мечтам счастливым.  
Давно сказал мудрец еврейский нам:  
«Все суета!» Урок всем хлопотливым.  
И суета, мой друг, за суету —  
Я милую печальной предпочту:  
Под гибельной Сатурновой косою  
Возможно ли нетленного искать?  
Оно нас ждет за дверью гробовую;  
А на земле всего верней мечтать.

Пленительно твое изображение!  
Ты мне судьбу завидную сулишь  
И скромное мое воображение  
Высокою надеждой пламенишь.  
Но жребий сей, прекрасный в отдаленье,  
Сравнится ль с тем, что вижу пред собой?  
Здесь мирный труд, свобода с тишиной,  
Посредственность, и круг друзей священный,  
И муза, вождь судьбы моей смиренной!  
Я не рожден, мой друг, под той звездой,  
Которая влечет во храм Фортуны;  
Мне тяжелы Ареевы перуны.  
Кого судьба для славы обрекла,  
Тому она с отважностью дала  
И быстроту, и пламенное рвенье,  
И дар: ловить летящее мгновенье,  
«Препятствия в удачу обращать  
И гибкостью упорство побеждать!»

Ему всегда в надежде исполнение,  
Но что же есть подобное во мне?  
И тени нет сих редких дарований!  
Полжизни я истратил в тишине;  
Застенчивость, умеренность желаний,  
Привычка жить всегда с одним собой,  
Доверчивость с беспечной простотой —  
Вот все, мой друг; увы, запас убогий!  
Пойду ли с ним той страшною дорогой,  
Где гибелью грозит нам каждый шаг?  
Кто чужд себе, себе тот первый враг!  
Не за своим он счастьем помчится,  
Но с собственным безумно разлучится.  
Нельзя искать с надеждой не обрести.  
И неуспех тяжеле неисканья.  
А мне на что все счастья даянья?  
С кем их делить? Кому их в дар принести?..

«Полезен будь!» – Так! польза – долг священный!  
Но мне твердит мой ум не ослепленный:  
Не зная звезд, брегов не покидай!  
И с сильным вслед, бессильный, не держай!  
Им круг большой, ты действуй в малом круге!  
Орел летит отважно в горный край!  
Пчела свой мед на скромном копит луге!  
И, не входя с моей судьбою в спор,  
Без ропота иду вослед за нею!  
Что отняла, о том не сожалею!  
Чужим добром не обольщаю взор.

Богач ищи богатства быть достойным,  
Я обращу на пользу дар певца —  
Кому дано бряцаньем лиры стройным  
Любовь к добру переливать в сердца,  
Тот на земле не тщетный обитатель.  
Но царь, судья, и воин, и писатель,  
Не равные степенями, равны  
В возвышенном к прекрасному стремленье.  
Всем на добро одни права даны!  
Мой друг, для всех одно здесь Провиденье!  
В очах сего незримого Судьи  
Мы можем все быть равных благ достойны;  
Среди земных превратностей спокойны  
И чистыми сберечь сердца свои!  
Я с целью сей, для всех единой в мире,  
Соединю мне сродный труд певца;  
Любить добро и петь его на лире —  
Вот все, мой друг! Да будет власть Творца!

*(16 июля 1812 года)*

...но стихи пишутся тогда только, когда на душе ясно; а на моей душе часто и очень часто сумерки. Поцелуйте за меня детей, а вихря-атамана дважды»<sup>145</sup>.

7 марта 1814 года Жуковский обращается из Муратова к Авдотье Николаевне Арбеневой и ее родной сестре Марье Николаевне Свечиной: «По несчастью, ваше письмо получил я поздно, милая Марья Николаевна (это письмо для вас

<sup>145</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 386.

обеих, мои добрые сестры). Я отвечал к вам на ваше последнее маленькое, которое написали вы вместе. Но это, на которое теперь отвечаю, получено мною гораздо после. О, почта, почта! Очень досадно мне такое замедление. Несмотря на то, что вы говорите мне в своем письме о том человеке<sup>146</sup>, которого не знаю и которого мнение должно быть так для меня решительно, я все боюсь. Боюсь его образа мыслей; боюсь предрассудка, которым могут быть определены эти мысли; боюсь влияния, которое могут они иметь на ваши собственные, которых согласие с моими так для меня важно, потому что на вас более, нежели на ком-нибудь, основаны мои надежды. По всему вижу, что никто не может принять с таким жаром мое счастье, наше счастье к сердцу, как вы. Что же, если и ваше мнение сделается ему противным? Для меня самого сомнения нет; но что же я? Бедный бессильный невольник, которому оставлена свобода только беситься на свой жребий. Все мое лучшее в чужих руках. Жаль очень, что ваше письмо получено поздно. Я бы вас предупредил и представил вам другой способ, такой же точно, как и ваш, но, мне кажется, более успешный. Впрочем, и теперь еще время не ушло. Вот в чем дело. Удивляюсь только, как это средство не пришло мне в голову гораздо прежде. Все бы, может быть, давно уже было решено. Я сам имею здесь челове-

---

<sup>146</sup> Здесь имеется в виду, вероятно, иеромонах Московского Новоспасского монастыря Филарет.

ка<sup>147</sup>, который с самой нежной молодости мною любим, который был благодетелем лучших моих друзей, уважавших его, как отца, и теперь к нему привязанных, который был бы другом лучших людей нашего времени, истинного христианина, но христианина не суевера. Я говорил с ним искренно, говорил с ним, как с отцом, – это имя останется ему теперь навсегда. Он меня одобрил, он меня благословил, он сказал мне, что на месте тетушки ни минуты не колебался бы сделать наше счастье. Такое одобрение меня ободрило. Тетушка его знает, имеет величайшую доверенность к его правилам и большое уважение к его характеру, – этому имею несомненное доказательство. Мнение такого человека было бы решительно, если бы оно было поддержано вашим, милая Авдотья Николаевна. Сколько для нее убеждения! С одной стороны, одобрение человека, которого христианство несомненно; с другой стороны, ваше согласие и, что всего важнее – счастье ее детей, и с ним собственное ее счастье. Положим, что тот, с кем вы советовались, противоречит нам своим образом мыслей. Я со своей стороны представляю вам другого, которого правила с этой стороны тверды, которого жизнь и мнения всегда были основаны на чистом христианстве. Вот два разных мнения. Которое же из этих двух мнений справедливо? Но как же сомневаться? Конечно, то мнение, которое делает счастье, а не то, которое его разрушает. Здесь могу напомнить вам, милая Марья Николаевна, еще

---

<sup>147</sup> Иван Владимирович Лопухин.

о том, что я от вас же самих слышал. Ваш отец был истинный христианин, но какие же были его намерения? Кого готовил он вашим мужем? И что, если бы его планы исполнились, – не были бы вы сто раз счастливее? Нет, никогда не могу оскорбить Создателя своего мыслию, что то, что производит настоящее счастье – спокойствие души, привязанность к жизни, деятельность, даже веру, было противно его закону. Согласен: тетушка, с одной стороны, права. Не разбирая справедливости ее мнения, она слепо считала его соответствующим с законом Божиим и на нем основывалась. Теперь дело в том, чтобы решить, что важнее: мнение или счастье милых ей людей? Не должно ли это счастье быть побуждением, чтобы разобрать: нет ли ошибки во мнении, ибо здесь ошибка ужасна. Можно ли иметь привязанность ко мнению, слепую и даже жестокую? Если это мнение уничтожает истинное счастье – не есть ли уже это почти доказательство, что оно ложное? Бояться смерти одного из нас, как наказания свыше за преступление! Кто дал ей право на такую боязнь, и на чем может быть она основана? Есть суеверы, которые от просыпанной солонки ожидают несчастья. Итак, мне стоит вообразить себе всякую нелепицу и на этой нелепице основывать свои поступки, и потом освятить их еще мнением закона. Где же понятие о Боге? Бояться нашей смерти и, чтобы избавиться себя от этого несчастья, самой готовить ее и давать преждевременную, настоящую смерть счастья, уничтожающую не физическую, но моральную жизнь! Прежде,

нежели она уверена, что Бог накажет преступление, она уже заступает его место, и наказание предупреждает преступление. А преступления нет и не будет.

“Если тебе надобно принести великую жертву, – пишете вы, – то принесешь ее Отцу Небесному”. Правда, принесу великую жертву, но совсем не Отцу Небесному; не хочу и оскорблять его такую жертвою. Она ему противна. Я в этом уверен. Буду уверен до конца жизни. Я принесу жертву какому-то чудовищу, которое называют Богом, а не моему Богу, который в моем сердце. Принесу жертву, как связанный человек, который соглашается, чтоб его зарезали и в глазах его зарезали лучшего его друга; соглашается, потому что не может перервать цепей своих. Тут нет покорности, и я не считаю такого счастья ни для кого нужным. Великодушия оставить всякое земное чувство, быть ей братом, быть тетушке сыном, как пишете вы, я иметь не могу, потому что здесь и иметь его будет не можно. Это могло бы сделаться прежде, если бы с одной стороны была доверенность; но я не имел и того, на что имел права. Теперь этого иметь и не надеюсь. Я не предполагаю себе никакого счастья возможным в доме тетушки. Уверен, что она была бы мною истинно счастлива с одним только условием; без этого условия мы должны навсегда расстаться, и на это я готов. Прошедшее есть для меня образец будущего: что было прежде, то будет и вперед. Как же снести такую жизнь? Прежде, по крайней мере, оставалась у меня надежда на перемену; она давала мне силу;

счастье будущее (и то счастье было бы истинным) украшало для меня все печальное в настоящем; но без этой надежды я не могу сносить того, что было сносить довольно легко. Быть только терпимым, иметь только приют от холоду и голоду там, где я хотел бы жить. Можно ли на это согласиться? Быть разрушителем спокойствия Маши, сносить подозрения и даже пренебрежения без всякой надежды, чтобы это было во что-нибудь вменено, – это все выше меня. Да это же было бы противно и счастью Маши. Ее спокойствие должно быть правилом моих поступков. Если не буду иметь возможности дать ей счастья, то, по крайней мере, хотя не отнимать того, что ей останется. Когда-нибудь и тетушка будет жалеть; но такое сожаление ужасно! Оно будет и позднее, и бесполезное.

12 февраля, день, в который я поехал к Ивану Владимировичу<sup>148</sup>, если уже надобно его назвать, был для меня одним из счастливейших в жизни. Неужели надежда, которая тогда наполнила мою душу, есть обман! Эта надежда была чистая; могу ли не почитать ее тайным голосом одобряющего Божества? Я в эту минуту живо и ясно чувствовал, что можно быть счастливым в жизни. Такого сильного чувства еще не помню. Я не молился, то есть никаким выражением не объяснял то, что стеснялось в моей душе; но то, что было в моей душе, – была клятва, которую давал и Богу удостоиться того счастья, которое мне в этой надежде изображалось. К этому

---

<sup>148</sup> Иван Владимирович Лопухин.

присоединялась для меня еще другая, лучшая мысль: я видел в будущем не одно счастье, не одно исполнение надежды; нет, я видел там самого себя, не таким, каков я теперь, но лучшим, новым, живым, а не мертвым. Вдали, как будто сквозь тень, представлялось мне совсем новое существование: спокойствие, душевная тишина, доверенность к Провидению, словом все, что составляет настоящее бытие человека. До этого времени, признаюсь, я замечал какую-то холодность к религии – предрассудки ее слишком для меня были убийственны; но в эту минуту, с живою надеждою, оживилось во мне живейшее чувство ее необходимости. О, как она нужна для того, чтобы счастье было просто и чисто! Я еще не могу себе представить этого счастья ясно; все это есть не иное что, как предчувствие чего-то необыкновенно приятного. Вижу тихую и вместе самую деятельную жизнь: тихую, потому что она ограничится самым тесным кругом, из которого ни шагу; деятельную, потому что вся обратится на себя. Столько чувств, которые во мне погибали даром, вдруг получили бы свободу! Вдруг иметь все святейшие связи, о которых я имел одно только понятие, но понятие грустное, потому что оно только давало мне чувствовать их недостаток; и, сверх всего этого, вера живая, идущая из сердца вера, не на словах, не на обрядах основанная, но вера, радость души, ее счастье, ее необходимая подпора, ее жизнь: чувство, доселе совсем почти незнакомое мне, убитое одиночеством, заглушенное непривязанностию к жизни. Что сравнить с та-

ким приобретением, и как не быть привязанным более чем к жизни к тому, кому был бы им обязан? А это – она! Верить вместе с нею благому Провидению и ему вручить с ней всю жизнь свою и все свои надежды! Повторяю опять: я чувствовал до сих пор одно только отдаление от религии; она казалась мне убийцею моей жизни; уважать ее значило для меня соглашаться с предрассудком, разрушителем моей надежды. Но теперь в каком новом свете она представляется моему сердцу и как считаю ее нужною для истинного счастья! Вместе с таким милым товарищем искать в вере прямого блага – это было бы для меня новою наукою, которой бы скоро я выучился, ибо она необходима для жизни. Вместе с нею готовиться здешнюю жизнь для будущей и в этом одном заключить свою жизнь: иметь одну эту цель, не заботясь о постороннем. Здесь, право, не вмешивается никакая мечтательность. Все это для меня в будущем, и все это возможно! Такое счастье было бы твердо, ибо оно было бы нашею пищею; мы имели бы его в глазах нашей матери, им счастливою. Такая жизнь, непонятная для большей части претендентов на счастье, была бы нашею без раздела, тихою, скрытою от ненужных свидетелей; она не призрак, но она только внутри сердца существовать может. И целая прошедшая жизнь меня к ней приготовила. Я даже рад бы был благодарить Провидение за все прошедшие потери и горести; они – достойная цель за такое счастье. Без них можно бы было его страшиться. Но оно будет купленное и дорого.

Я точно теперь похож на такого человека, который видел один только сон жизни, прекрасный, восхитительный, но знал, что это сон и что он видел его в горячке и им не наслаждается, и вдруг чувствует, что к нему приближается ангел, чтобы его разбудить, и говорит: проснись, чтобы жить. И он готов встать с полным понятием о жизни, с полною готовностью ею воспользоваться, как человек слепой от рождения, знавший только по слуху о красотах мира и вдруг получающий зрение. Для меня в жизни все еще будет новым, но я приготовлен к нему лишениями. Довольно!

Скажу вам в заключение, милые мои друзья: сделайте со своей стороны все, что можете, чтобы дать нам это счастье. В Иване Владимировиче будете иметь сильного помощника; только не откажите с ним вместе действовать. Я уверен, что все вместе вы перемените образ мыслей тетушки. Я уверен, что она сама обрадуется случаю от него отказаться. Сделаем все, что от нас зависит; остальное предоставим Провидению. Простите»<sup>149</sup>.

А вот еще одно муратовское послание В. А. Жуковского, датированное 16 апреля 1814 года. «Здравствуйте, милая моя сестра, новая знакомка и старый друг, – обращается он к А. П. Киреевской. – Вы мне дали на дорогу добрый запас размышлений и чувств. Месяца за два я бы не вообразил, что мне будет можно поехать с грустью из Долбина в Муратово – бедные мы люди! Думаем о бессмертии, о горнем, отдален-

---

<sup>149</sup> Сочинения В. А. Жуковского в двух томах. Т. 1. С. 387–389.

ном счастье, а под носом не видим того, что может нас утешать и делать довольными. Наше путешествие сделало и моему сердцу большое добро: оно помогло ему найти находку – доверенность к дружбе, прежде смешанную с сомнением, потом почти совсем разрушенную, обратить в веру – не есть ли это находка? И не везде ли видно доброе Провидение? Отымая с одной стороны, оно всегда заменяет с другой. С полною доверенностью я сунулся было просить дружбы там, где было одно притворство, и меня встретило предательство со всем своим отвратительным безобразием – от вас не думал ничего требовать, и все само сделалось. Эта мена ничуть не убыточная, а вместе с нею и добрый урок.

Вот вам моя реляция. Поехав от вас, я думал ночевать в Черни. Но в Болхове узнал, что Плещеев<sup>150</sup>, мой добрый негр, который белых книг не страшится, приехал один из Ельца. Я скорей в Чернь, но его не застал – он уехал в Муратово. Переменив лошадей, скачу за ним. Ночь и страшная грязь не выпустили меня из Козловки, и я ночевал у Марии Николаевны<sup>151</sup>. Она сказала мне официальную новость: свадьба<sup>152</sup> назначена 2 июля, а после свадьбы едут в Дерпт. Я поглядел на своего спутника – вы его знаете. Больная, одер-

---

<sup>150</sup> Александр Алексеевич Плещеев.

<sup>151</sup> Марьи Николаевны Свечиной.

<sup>152</sup> Речь идет о свадьбе Александры Андреевны Протасовой и Александра Федоровича Воейкова, который тогда был назначен в дерптский университет профессором русской словесности. Свадьба состоялась позднее.

жимая подагрою надежда, которая, скрепя сердце, тащится за мною на костылях и часто отстает.

– Что скажешь, товарищ?

– Что сказать? Нам недолго таскаться вместе по белу свету. После второго июля – что бы ни было – мы расстанемся! Или покину тебя одного, и бреди, как хочешь! Или оставлю тебе свою сестрицу, которая лучше меня, и гораздо лучше (но только для добрых) – исполнение. С нею дурной человек становится хуже, а добрый гораздо добрее. Она приготовит тебя к тому обетованному краю,

Где вера не нужна, где места нет надежде,  
Где царство вечное одной любви святой!

– А если останусь один?

– Тогда готовься, как умеешь, сам к переселению в этот край! Но едва ли удастся получить пропускной билет!

Разве чудо путь укажет  
В сей прелестный край чудес!<sup>153</sup>

– Но ждать чуда? Кто его дождется!

– И я тоже думаю!

– Что же делать?

– Не знаю! А для меня верно только то, что мы расстанемся!

---

<sup>153</sup> Строки из перевода В. А. Жуковского стихотворения Шиллера «Желание».

Вот вам слово в слово весь наш разговор.

Поутру рано приезжаю. Плещеев здесь по делам. У них все идет лучше: Вадковская<sup>154</sup> стала поздоровее, и весной ее перевезут в Орел. А сами Плещеевы возвратятся в Чернь недели через две. Я принят был по-обыкновенному, но, давая мне руку, смотрели на Плещеева. А мой подагрик шепнул мне на ухо: “Терпи! Тебя будут любить, когда получишь свободу быть тем, каким быть хочешь и можешь”. И сердце скрепилось. Но было ли оно довольно так, как бывает довольным у человека, возвратившегося в тот круг, где его счастье, где его настоящая жизнь?.. Нет! Нет! Сиротство и одиночество ужасно в виду счастья и счастливых! Гораздо легче быть одиноким в лесу с зверями, в тюрьме с цепями, нежели подле той милой семьи, в которую хотел бы броситься и из которой тебя выбрасывают. Благодаря моему подагрику, это все еще для меня сносно. Но когда он от меня отковыляет в дальнюю, неизвестную сторону, тогда быть совсем выброшенным будет даже утешительно – можно разбиться вдребезги. Плещеев уехал во втором часу. У Воейкова заболела голова – его положили в кабинете: сами подкладывали ему под ноги, под голову подушки; я сидел спичкою, и на меня поглядывали с торжествующим, радостным видом – в самом деле торжество и радость. Я посматривал исподлобья: не найду ли где в углу христианской любви, внушающей сожаление, пощаду, кротость. Нет! Одно холодное же-

---

<sup>154</sup> Речь идет о сестре жены А. А. Плещеева Екатерине Ивановне Вадковской.

стокосердие в монашеской рясе с кровавою надписью на лбу “должность” (выправленную весьма неискусно из слова “суеверие”) сидело против меня и страшно сверкало на меня глазами. И мне стало страшно, и я ушел к себе отведать ничтожества, то есть как-нибудь заснуть – и заснул, и проснулся, к утешению, к вашей записке, которая и всегда бы меня обрадовала, а тут утешила... Голос друга послышался в пустыне. В ней стоит: “Милый брат мой!” Это слово имеет совсем иной смысл в минуту тяжелого горя. Да это же слово прилетело с родины, где было много моего, собственного! Было и нет.

Опять слова два об вашей записке! “Ce voyage a fait tant de bien à mon coeur”<sup>155</sup>, – пишете вы! И моему сердцу это путешествие большой благодетель. Нельзя изъяснить, что такое значит доверенность к искреннему участию, к дружескому сожалению. Я не верил вашей привязанности к Маше<sup>156</sup>, а теперь ей верю. Так говорить об ней, как мы говорили, нельзя, не любивши ее нежно. Теперь знаю, что вы будете понимать друг друга не одним молчанием, которое иногда может быть и непонятно. А ей так часто бывает нужно говорить без закрышки. Весь век таиться в самой себе ужасно. Свобода – жизнь души, а тюрьма душевная гораздо страшнее той, в которой мы можем играть хотя цепями.

Возвратимся к своей реляции. Еще очень много осталось

---

<sup>155</sup> Это путешествие принесло столько добра моему сердцу (*фр.*).

<sup>156</sup> Марье Андреевне Протасовой.

вам сказать. После обеда приехала Марья Николаевна, а ввечеру получены три письма от Авдотьи Николаевны<sup>157</sup>, и между ними одно большое, в котором она рассказывает тетушке о моих к ней письмах, об угрозах Филарета<sup>158</sup>, об Иване Владимировиче<sup>159</sup> (которого производит в мартинисты). Я не знаю его содержания, рассказываю вам, что слышал. Но подивитесь же. Мне об этом письме ни слова, даже я не заметил почти никакой к себе перемены. И, по-видимому, оно ничего слишком дурного не произвело. Итак, если оно не испортило, то поправило, потому что приготовило. Был после разговор об Иване Владимировиче. Тетушка сказала, что ей хотелось бы с ним познакомиться! Познакомиться тогда, когда знает, что он мое мнение оправдывает. Это весьма важно. Милая, может быть, он подействует на ее мысли. И тут Провидение! Оно назначило, может быть, вашему Ванечке<sup>160</sup> быть моим ангелом-хранителем. Родясь на свет, он принес, может быть, мое счастье: он своею жизнью сделал между нами связь, которая может сделаться причиною и здешнего, и будущего моего счастья – я их не разлучаю! Одно необходимое следствие другого. Но подумайте ж о поступке Авдотьи Николаевны. Пока дружба было одно слово, которое стоило

---

<sup>157</sup> Авдотьи Николаевны Арбеновой.

<sup>158</sup> Здесь имеется в виду, вероятно, иеромонах Московского Новоспасского монастыря Филарет.

<sup>159</sup> Иван Владимирович Лопухин.

<sup>160</sup> Речь идет о сыне А. П. Киреевской – Иване.

только произнести или написать и которое ни к чему не обязывало, до тех пор она ею меня прельщала! Понадобилось сделать опыт – прощай, дружба! Я ведь не требовал от нее нарушения правил – я только себя ей вверил! В первую минуту показала она живое участие. Вдруг все переменялось. И вместо того, чтобы мне прямо сказать свои мысли, она с каким-то каменным равнодушием не отвечала ни слова ни на одно из писем моих и прямо все открыла тетушке. Я не мог требовать от нее того, что, по ее образу мыслей, могло казаться ей или непозволенным, или невозможным, но имел право требовать прямоты, участия, внимания, потому что меня приманили дружбою на доверенность. И эти люди называют себя христианами. Какое же понятие имеют они о самых простых должностях, предписываемых совестью и религиею, которая есть та же совесть, но только более возвышенная и определенная? Что это за религия, которая учит предательству и вымораживает из души всякое страдание! Эти люди, эгоисты под святым именем христиан, смотрят на людей свысока: одним несчастным более или менее в порядке создания! Какое дело! Режь во имя Бога и будь спокоен! Но дело не об том! Я презираю ее от всей души и с тою ложною религиею, которую она так пышно выдает за истинную! Жаль только, что обманулся! Ее чувствительность есть не иное что, как искра, которая таится в кремне, иногда из него выскакивает при сильном ударе, но всегда оставляет его и холодным, и жестким. Еще не все испорчено. Вам

много можно сделать. Поговорите с Марьей Алексеевной<sup>161</sup>. Теперь ее мнение великий сделало бы перевес. Тетушка знает, что Иван Владимирович со мною согласен. Машино чувство ей также известно, хотя она и хочет себя уверить, что оно не существует. Если можно, упросите Марью Алексеевну написать к ней. Только бы мнение ее было согласно с нашим – писать и сказать его искренно не будет стоить для нее никакого усилия. Боже мой! Она за нас молилась! Неужели человеку будет сказать ей труднее то, что она говорит Богу! Дело идет о целой жизни двух добрых тварей, – она может им дать на всю жизнь самое важное, благодарное об ней воспоминание! Быть причиною счастья – какое святое дело для христианина.

Я думал писать к ней сам, но считаю это неприличным! Не имею на это права. Но посылаю вам то письмо, которое я давно приготовил тетушке – в той мысли, что она захочет со мною объясниться. Объяснения не было. Но я все-таки отдам его ей непременно, когда будет надобно. Покажите его Марии Алексеевне. Если сочтете нужным, покажите и это. Еще посылаю вам тот листок<sup>162</sup>, который я написал тотчас по возвращении моем от Ивана Владимировича, говея, я хотел показать вам в Долбине, но не нашел. Все это вы мне возвратите.

Я уверен, что Марья Алексеевна много для нас сделать

---

<sup>161</sup> Марьей Алексеевной Черкасовой.

<sup>162</sup> Очевидно, выписка из дневника.

может. Скажите ей, что, узнавши о ее участии, о том, что она за меня молилась, я привязался к ней, право, сыновнею благодарностию. Такую нежную доброту в редком сердце встретишь. Она сама по себе уже есть благодеяние»<sup>163</sup>.

Во второй половине мая 1814 года Жуковский пишет из Черни А. И. Тургеневу: «Я получил твое письмо, бесценный друг. Оно утешит всякое горе<sup>164</sup>. Иметь такого человека, как ты, своим другом есть богатство, неотъемлемое никакою судьбою. Одна только просьба: не упреди! Спешу ответить тебе в немногих словах. Ты, верно, уже получил мое письмо, посланное с эстафетой, в котором прошу о письме к Досифею<sup>165</sup>. И теперь повторяю ту же просьбу. Но не знаю, будет ли какая-нибудь польза, захотят ли с ним советоваться и примут ли его совет. Не один фанатизм против меня вооружается. Есть много нечувствительности и упрямства<sup>166</sup>. Если нельзя дойти до сердца, то рассудок убедить трудно; а при слабом, нерешительном характере едва ли и возможно. Я сам с твоим мнением согласен: монахов вводить в это дело опасно. Но если уже нельзя будет избежать от них, то хотя

---

<sup>163</sup> Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полное собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 89–94.

<sup>164</sup> По свидетельству биографа В. А. Жуковского Карла Карловича Зейдлица, А. И. Тургенев сообщил Василию Андреевичу о письме митрополита Филарета, в котором святитель говорил о том, что к женитьбе Жуковского на М. А. Протасовой нет препятствий.

<sup>165</sup> К епископу орловскому Досифею (Ильину).

<sup>166</sup> Говорится о Е. А. Протасовой.

приготовленных монахов, а не простых, покрытых непроницаемой рясою, заставить действовать. Итак, пиши к Досифею. Напиши об нем и к Ивану Владимировичу<sup>167</sup>, который твое письмо подкрепит в случае нужды своим. Августина<sup>168</sup> оставь в покое. Арбенева<sup>169</sup> свое сделала: написала письмо к матери и много испортила. Теперь вся надежда на Воейкова<sup>170</sup>, и, если захотят советоваться, на Досифея. Но я не думаю, чтобы это возможно было устроить. В июле Воейкова свадьба. В сентябре или октябре поедут в Дерпт. Когда ж к Досифею в Севск? Мы расстанемся, – и всему конец. Особенно, если нельзя будет избавиться от 6-летней обязанности. Но почему бы нельзя? Одни воспитанные на казенный кошт принимают такую обязанность. Воейков дворянин. Неужели университет может уничтожить право дворянства, дающее полную свободу входить в службу и выходить из нее, как захочешь? Разве не могут случиться такие обстоятельства по делам его, которые необходимо потребуют отставки? Как поручиться за себя за шесть лет? Похлопочи ради Бога, чтобы этого не было.

Ты велишь мне писать. Друг бесценный, душа воспламеняется при всем великом, что происходит у нас перед глазами. Сердце жметя от восторга при воспоминании о нашем

---

<sup>167</sup> Иван Владимирович Лопухин.

<sup>168</sup> Епископа дмитровского Августина (Виноградского).

<sup>169</sup> Авдотья Николаевна Арбенева.

<sup>170</sup> Александра Федоровича Воейкова.

государе и той божественной роли, которую он играет теперь в виду целого света. Никогда Россия не была столь высоко возведена. Какое восхитительное величие! Но, как нарочно, теперь и засуха в воображении. Мысли пробуждаются в голове, но, взявшись за перо, чувствую, что в нем паралич, и остается только жалеть о самом себе. Не умею тебе описать своего положения. Это не горе – нет! И горе есть жизнь, – а какая-то мертвая сухость. Все кажется пустым, а жизнь всего пустее. Такое состояние хуже смерти, и разве одно только Наполеоново может быть еще его хуже. Мне пришла, однако, прекрасная мысль, но эта мысль – мечта. Я воображаю, что ты можешь сюда приехать к свадьбе Воейкова (2 июля). Но может ли это сбыться? В теперешних обстоятельствах ты должен быть на виду. Я о себе теперь не думаю, и на что думать? Пускай все случится само собою. Для будущего планов нет. Будущее само покажет, чему быть должно. Мое дело предать себя с совершенным равнодушием бегущему потоку. Иногда (то есть, всегда) досадно, что этот поток так медлителен. Перечитай мое послание к тебе:

Друг, отчего печален голос твой?  
Ответствуй, брат, реши мое сомненье.  
Иль он твоей судьбы изображение?  
Иль счастье простилось и с тобой?  
С стеснением письмо твое читаю;  
Увы! на нем уныния печать;  
Чего не смел ты ясно мне сказать,

То все, мой друг, я чувством понимаю.  
Так, и на твой досталось удел;  
Разрушен мир фантазии прелестной;  
Ты в наготе, друг милый, жизнь узрел;  
Что в бездне сей таилось, все известно —  
И для тебя уж здесь обмана нет.  
И, испытав, сколь сей изменчив свет,  
С пленительным простившись ожиданьем,  
На прошлы дни ты обращаешь взгляд  
И без надежд живешь воспоминаньем.

О! не бывать минувшему назад!  
Сколь весело промчались те годы,  
Когда мы все, товарищи-друзья,  
Делили жизнь на лоне у Свободы!  
Беспечные, мы в чувстве бытия,  
Что было, есть и будет, заключали,  
Грядущее надеждой украшали —  
И радостным оно являлось нам.  
Где время то, когда по вечерам  
В веселый круг нас музы собирали?  
Нет и следов; исчезло все – и сад,  
И ветхий дом, где мы в осенний хлад  
Святой союз любви торжествовали  
И звоном чаш шум ветров заглушали.  
Где время то, когда наш милый брат  
Был с нами, был всех радостей душою?  
Не он ли нас приятной остротою  
И нежностью сердечной привлекал?

Не он ли нас тесней соединял?  
Сколь был он прост, нескрытен в разговоре!  
Как для друзей всю душу обнажал!  
Как взор его во глубь сердец вникал!  
Высокий дух пылал в сем быстром взоре.  
Бывало, он, с отцом рука с рукой,  
Входил в наш круг – и радость с ним являлась,  
Старик при нем был юноша живой,  
Его седин свобода не чуждалась...  
О нет! он был милейший нам собрат;  
Он отдыхал от жизни между нами,  
От сердца дар его был каждый взгляд,  
И он друзей не рознил с сыновьями...  
Увы! их нет... мы ж каждый по тропам  
Незнаемым за счастьем полетели,  
Нам прошептал какой-то голос: там!  
Но что? и где? и кто вожатый к цели?  
Вдали сиял пленительный призрак —  
Нас тайное к нему стремленье мчало;  
Но опыт вдруг накинуд покрывало  
На нашу даль – и там один лишь мрак.  
И, верою к грядущему убоги,  
Задумчиво глядим с полудороги  
На спутников, оставших назади,  
На милую Фантазию с мечтами...  
Изменница! навек простилась с нами,  
А все еще твердит свое: иди!  
Куда идти? что ждет нас в отдаленье?  
Чему еще на свете веру дать?

И можно ль, друг, желание питать,  
Когда для нас столь бедно исполненье?  
Мы разными дорогами пошли:  
Но что ж, куда они нас привели?  
Всё к одному, что счастье – заблужденье.  
Сравни, сравни себя с самим собой:  
Где прежний ты, цветущий, жизни полный?  
Бывало, все – и солнце за горой,  
И запах лип, и чуть шумящи волны,  
И шорох нив, струимых ветерком,  
Неси ж туда, где наш отец и брат  
Спокойным сном в приюте гроба спят,  
Венки из роз, вино и ароматы;  
Воздвигнем, друг, там памятник простой  
Их бытия... и скорбной нашей траты.  
Один исчез из области земной  
В объятиях веселыя Надежды.  
Увы! он зрел лишь юный жизни цвет;  
С усилием его смыкались вежды;  
Он сетовал, навек теряя свет —

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.